



ВИКТОР ГОЛЯВКИН



КАЛЕЙДОСКОП

КА
ЛЕ
Й
Д
О
С
К
О
П

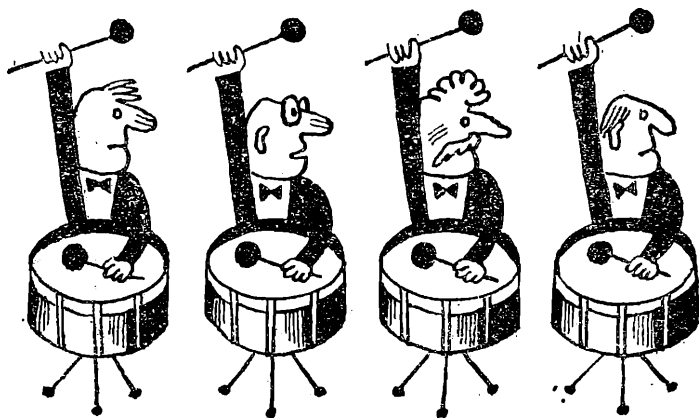
КА
ЛЕ
Й
Д
О
С
К
О
П



ВИКТОР ГОЛЯЕКИН
КАЛЕЙДОСКОП

ЛЕНИЗДАТ • 1985

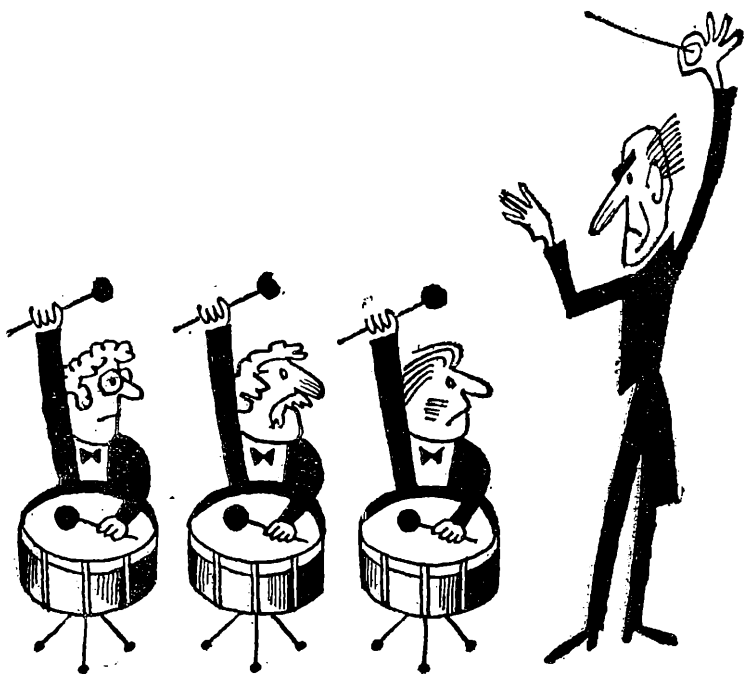




ВИКТОР ГОЛЯВКИН

КАЛЕЙДОСКОП

РАССКАЗЫ



85.3Р7
Г60

Художник
М. С. БЕЛОМЛИНСКИЙ

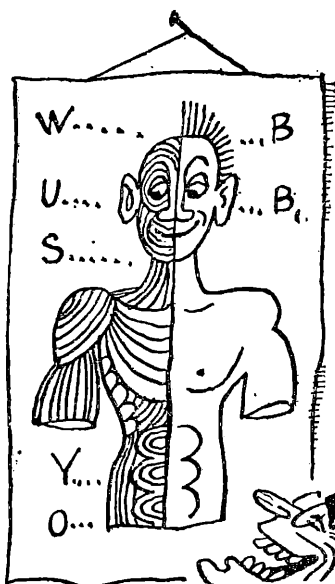
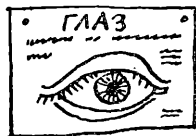
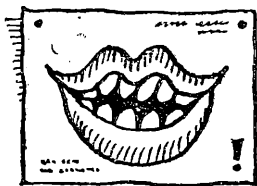


Г $\frac{4702010200-066}{M171(03)-85}$ 192-85
© Лениздат, 1985



Я ЖДУ ВАС ВСЕГДА
С ИНТЕРЕСОМ





Я ЖДУ ВАС ВСЕГДА С ИНТЕРЕСОМ!

Такого педагога я не встречал за все время своей учебы. А учился я много. Ну, во-первых, я в некоторых классах не по одному году сидел. И когда в художественный институт поступил, на первом курсе задержался. Не говоря уже о том, что поступал я в институт пять лет подряд.

Но никто не отнесся ко мне с таким спокойствием, с такой любовью и нежностью, никто не верил так в мои силы, как этот запомнившийся мне на всю жизнь профессор анатомии. Другие педагоги ставили мне двойки, даже не задумываясь над этим. Точно так же не задумываясь, они ставили единицы, а один педагог поставил мне ноль. Когда я спросил его, что это значит, он ответил: «Это значит, что вы — НОЛЬ! Вы ни черта не знаете, а это равносильно тому, что вы сами ни черта не значите, вы не согласны со мной?» — «Послушайте,— сказал я тогда,— какое вы имеете право ставить мне ноль? Такой отметки, насколько мне известно, не существует!» Он улыбнулся мне прямо в лицо и сказал: «Ради исключения, приятель, ради исключения, я делаю для вас исключение!» Он сказал таким тоном, как будто это было приятное исключение. Этим случаем я хочу показать, насколько все педагоги не скупились ставить мне низкие оценки.

Но этот! Нет, это был исключительный педагог!

Когда я пришел к нему сдавать анатомию, он сразу, даже не дождавшись от меня ни слова, сказал, мягко обняв меня за плечо:

— Ни черта вы не знаете...

Я был восхищен его пронизательностью, а он, по всему видно, был восхищен моим откровенным видом ничего не знающего ученика.

— Приходите в другой раз,— сказал он.

Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы, ничего такого он мне не поставил! Когда я спросил его, как он догадался, что я ничего не знаю, он в ответ стал смеяться, и я тоже, глядя на него, стал хохотать. И вот так мы покатывались со смеху, пока он, все еще продолжая смеяться, не махнул рукой в изнеможении:

— Фу... бросьте, мой милый... я умоляю, бросьте... ой, этак вы можете уморить своего старого седого профессора...

Я ушел от него в самом прекрасном настроении.

Во второй раз я, точно так же ничего не зная, явился к нему.

— Сколько у человека зубов? — спросил он.

Вопрос ошарашил меня: я никогда не задумывался над этим, никогда в жизни не приходила мне в голову мысль пересчитать свои зубы.

— Сто! — сказал я наугад.

— Чего? — спросил он.

— Сто зубов! — сказал я, чувствуя, что цифра неточная.

Он улыбался. Это была дружеская улыбка. Я тоже в ответ улыбнулся так же дружески и сказал:

— А сколько, по-вашему, меньше или больше?

Он уже вздрагивал от смеха, но сдерживался. Он встал, подошел ко мне, обнял меня, как отец, который встретил своего сына после долгой разлуки.

— Я редко встречал такого человека, как вы,—

сказал он, — вы доставляете мне истинное удовольствие, минуты радости, веселья... но несмотря на это...

— Почему? — спросил я.

— Никто, никто, — сказал он, — никогда не говорил мне такой откровенной чепухи и нелепости за прожитую жизнь. Никто не был так безгранично невежествен и несведущ в моем предмете. Это восхитительно! — Он потряс мне руку и, с восхищением глядя мне в глаза, сказал: — Идите! Приходите! Я жду вас всегда с интересом!

— Спросите еще что-нибудь, — сказал я обиженно.

— Еще спросить? — удивился он.

— Только кроме зубов.

— А как же зубы?

— Никак, — сказал я. Мне неприятен был этот вопрос.

— В таком случае посчитайте их, — сказал он, приготавливаясь смеяться.

— Сейчас посчитать?

— Пожалуйста, — сказал он, — я вам не буду мешать.

— Спросите что-нибудь другое, — сказал я.

— Ну хорошо, — сказал он, — хорошо. Сколько в черепе костей?

— В черепе? — переспросил я. Все-таки я еще надеялся проскочить.

Он кивнул головой. Как мне показалось, он опять приготовился смеяться.

Я сразу сказал:

— Две!

— Какие?

— Лоб и нижняя челюсть.

Я подождал, когда он кончит хохотать, и сказал:

— Верхняя челюсть тоже имеется.

— Неужели? — сказал он.

— Так в чем же дело?! — сказал я.

— Дело в том, что там есть еще кости кроме этих.

— Ну, остальные не так значительны, как эти,— сказал я.

— Ах вот как! — сказал он весело.— По-вашему, значит, самая значительная — нижняя челюсть?

— Ну, не самая...— сказал я,— но тем не менее это одна из значительнейших костей в человеческом лице...

— Ну, предположим,— сказал он весело, потирая руки,— ну, а другие кости?

— Другие я забыл,— сказал я.

— И вспомнить не можете?

— Я болен,— сказал я.

— Что же вы сразу не сказали, дорогой мой!

Я думал, он мне сейчас же тройку поставит, раз я болен. И как это я сразу не догадался. Сказал бы — голова болит, трещит, разламывается, разрывается на части, раскалывается вся как есть...

А он этак весело-весело говорит:

— Вы костей не знаете.

— Ну и пусть! — говорю. Не любил я этот предмет!

— Мой милый,— сказал он,— мое восхищение вами перешло всякие границы. Я в восторге! До свидания! Жду вас!

Он с чувством пожал мне руку. Но он не поставил мне никакой двойки, никакой единицы!

— До свидания! — сказал я.

Я помахал ему на прощание рукой, а уже возле дверей поднял кверху обе руки в крепком пожатии и помахал. Он был все-таки очень симпатичный человек, что там ни говорите. Конечно, если бы он мне тройку поставил, он бы еще больше симпатичный был. Но все равно он мне нравился. Я даже подумал: уж не выучить ли мне в конце концов эту анатомию, а потом решил пока этого не делать. Я все-таки еще надеялся проскочить!

Когда я к нему в третий раз явился, он меня как старого друга встретил, за руку поздоровался, по плечу похлопал и спросил, из чего глаз состоит.

Я ему ответил, что глаз состоит из зрачка, а он сказал, что это еще не все.

— Из ресниц! — сказал я.

— И все?

Я стал думать. Раз он так спрашивает, значит, не все. Но что? Что там еще есть в глазу? Если бы я хоть разок прочел про глаз! Я понимал, конечно, что бесполезно что-нибудь рассказывать, раз не знаешь. Но я шел напролом. Я хотел проскочить. И сказал:

— Глаз состоит из многих деталей.

— Да ну вас! — сказал он. — Ведь вы же талантливый человек!

Я думал — он разозлится. Думал — вот сейчас-то он мне и поставит двойку. Но он улыбался! И весь он был какой-то сияющий, лучистый, радостный. И я улыбнулся в ответ — такой симпатичный старик!

— Это вы серьезно, — спросил я, — считаете меня талантливым?

— Вполне.

— Может быть, вы мне тогда поставите тройку? — сказал я. — Раз я талантлив?

— Поставить вам тройку? — сказал он. — Такому способному человеку? Да вы с ума сошли? Да вы смеетесь! Пять с плюсом вам надо! Пять с плюсом!

— Не нужно мне пять, — сказал я. — Мне не нужно! — Какая-то надежда вдруг шевельнулась, что все-таки он может мне эту тройку поставить.

— Вам нужно пять, — сказал он. — Только пять.

— По-вашему, выходит, вы лучше знаете, что мне нужно?

— Но вы не отчаивайтесь! Главное — не отчаивайтесь! Веселей глядите вперед, и главное — не отчаивайтесь!

— Буду отчаиваться! — крикнул я.

— Не смейте отчаиваться, — сказал он весело, глядя мне в глаза, пожимая мне дружески руку. — Вам нужно приходиться! Еще! Все время приходиться!

— Зачем?

— Учиться!

— Я неспособный! — крикнул я.

Он смотрел на меня и улыбался.

— Жду вас! — сказал он. — Всегда! С интересом!

И он поднял обе руки в крепком пожатии высоко над головой, как это делал я совсем недавно.

ТРИ ПОХВАЛЫ

Это были похвалы не каких-нибудь неуважаемых людей. Хвалили меня мать, отец и художник. Знаменитый сосед художник закрепил похвалы моей матери и моего отца. Я тогда еще, кажется, в школу не ходил, а может быть, уже ходил в начальные классы.

Когда я этот рисунок нарисовал, так я прямо запрыгал от радости — шутка ли, такой рисунок нарисовал! Я помчался к отцу в его комнату — он как раз писал письмо моей бабушке, а я прямо на письмо положил свой рисунок, и отец его смахнул со стола. Я опять положил свой рисунок на бабушкино письмо, и тогда отец спросил, что мне надо. Я сказал, что мне надо знать, нравится ли ему мой рисунок. И он ответил, что нравится. Хотя, как потом выяснилось, отец даже не видел, что там нарисовано. И сказал так исключительно потому, чтобы я от него отвязался.

Мать пекла блины, один блин у нее подгорал, и она к нему бросилась. Как раз в это самое время, когда я бросился к ней со своим рисунком. Она никак не могла перевернуть блин, — я старался как можно ближе поднести свой рисунок к ее глазам. Мать закрича-

ла, чтобы я немедленно ушел, но я не ушел, а спросил, какого она все-таки мнения о моем рисунке.

— Это удивительно! — закричала она.

Только потом я понял, что ей показалось удивительным, как это люди могут до такой степени мешать другим людям печь блины. Но я тогда не так понял это мамино восклицание.

Народный художник спал, но я разбудил его своим звонком. Он, зевая, стоял в дверях, а я показывал ему свой рисунок. Он убрал волосы с моего лба, уцепился за ухо и сказал:

— Это хорошо... это хорошо...

Он тут же захлопнул дверь, а я снова запрыгал.

Но это было плохо. Все это было плохо.

Потому что меня ни разу не приняли в художественное училище, хотя я поступал туда девять раз.

Потому что я, несмотря ни на что, всю жизнь продолжал рисовать и писать красками и написал несметное количество никому не нужных рисунков и картин, живя за счет своей бедной матери, которой скоро исполнится сто два года. Потому что угробил несметную кучу времени, но только сейчас это понял.

Потому что я не давал жить другим людям, методично подсовывая им под нос свои произведения. Как некогда в детстве своему отцу, когда он писал письмо своей матери. Моей матери, когда она пекла блины. И народному художнику, когда он еще не совсем проснулся.

Так будьте же внимательны друг к другу!

ГУСТОЙ ГОЛОС ВЫШТЫМОВА

Я с ним где-то познакомился, не помню где, да это и не важно. Кажется, меня с ним Василевичи познакомили, да вы этих Василевичей не знаете, да дело не

в этом. Вот тогда я у него и спросил, где он работает, что у него за работа и сколько он денег получает. Оказалось, он по радио вещает. Что-то там такое читает, объявляет. Да мне это и не важно тогда было, я просто так спросил, раз познакомился. У меня своя работа, свои заботы, какое мне до всего этого дело! Да и спросил-то я его про это после того, как он поинтересовался, сколько я в месяц денег получаю.

Я забыл о знакомстве.

Вдруг однажды я дома сидел, жена в кухне была, а я сидел у окна, как сейчас помню: дождик покрапывал, погода такая свежая была, — и вот тут я и услышал этот голос. Бесспорно, Выштымова, я его сразу узнал, это был его голос, — так интересно! Видел человека, с ним беседовал, и вот вам, пожалуйста, — по радио говорит!

Я в кухню помчался, зову жену.

— Убей меня, — кричу, — если это не голос Выштымова!

Она терпеть не может, когда я громко слова произношу, некоторое нервное расстройство у нее, конечно, имеется.

Но все-таки она прибежала в комнату, в чем дело, спрашивает, а я ей с такой радостью на приемник показываю, — вы себе не представляете! Сам не знаю, отчего у меня такая радость появилась, знакомый все-таки человек по радио выступает! Так вот она прибежала, в чем дело, спрашивает, что такое, — она думала, короче говоря, что пожар. Ну, это все так говорят, а на самом деле никто так не думает.

— Да никакого пожара нету, — говорю, — голос Выштымова по радио передают!

— Какого, — спрашивает, — Выштымова?

— Да того самого, — говорю, — с которым нас Василевичи познакомили.

Ну, тут, правда, я от возбуждения опять стал громко слова произносить, скверная все-таки привычка!

— Слушай, слушай,— кричу,— внимательно слушай! Голос Выштымова передают!

Она вдруг разозлилась и как закричит:

— Плевать я хотела на твоего Выштымова! Не знаю я никакого Выштымова! Дурак ты вместе со своим Выштымовым!

У нее, оказывается (это потом выяснилось), котлеты окончательно сгорели,— а я откуда знал? Да и она в то время, когда слова произносила, тоже ведь знать не могла, что у нее там котлеты сгорели. Недопустимое все-таки поведение с ее стороны в таком случае.

Скандал был небольшой, но крепкий. Недолгий, я хочу сказать, но котлеты даже кошка есть не стала — естественно, скандал. Тарелку она ударила о дужку кровати и разбила — некрасиво!

В другой раз я сидел у окна, смотрел в окно: солнце то вспыхнет, то пропадет; как солнце вспыхнет, все озарит — такая красота! Жена спала, красоты этой, естественно, не видела, только что с работы возвратилась. И вдруг слышу я голос Выштымова! Такой густой голос, я уже говорил, представьте себе, так приятно! Совершенно точно — его! Я стал будить жену, — такие хорошие чувства у меня были, да и вдвоем приятней знакомый голос по радио услышать. Она никак не просыналась, спит, черт возьми, такой здоровый, крепкий организм, я ей все повторяю: «Выштымов говорит! Выштымов говорит!» — и в бок толкаю. Надо же так крепко спать, подумать только, потом жди, когда Выштымов по радио заговорит. Я ее все толкал в бок, толкал и повторял, что Выштымов говорит, а она что-то совершенно невразумительное мне отвечает, а Выштымов вот-вот кончит говорить. И вдруг она встает с постели и со всей силы бьет меня по лицу и

снова ложится. Как ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. Ни с того ни с сего — представьте себе! Я так удивился, а она мне даже отказалась прокомментировать свой поступок, объяснить все по порядку. Эти женщины, конечно, очень загадочные существа, загадочные люди, я всегда говорил. Как это там поется: «Частица черта в нас заключена подчас!» Совершенно точно! До чего верно подмечено!

Мы с ней после этого инцидента три дня не разговаривали, я у ее матери ночевал, она мне тещей приходится, все ей, как есть, все рассказал, так она дочку свою осудила. Не все женщины такие. Не все одинаковы, кому какая попадется, раз на раз не приходится, гора с горой не сходится, а человек с человеком сходится. Сойдемся еще, думаю, никуда не денемся. Между прочим, когда я у ее матери проживал, я там тоже услышал голос Выштымова, так внезапно тоже все произошло — вдруг слышу! Я как зарю: «Вот он, ей-богу, он!!!» Так бабка испугалась, вот потеха, чуть в обморок не упала — надо же! Да все они одинаковые... Стала меня крыть на чем свет стоит: мол, теперь она своей дочке сочувствует, теперь она ее хорошо понимает.

Я вернулся к жене, она в это время как раз ужин готовила. А я сел у окна, вечер был такой чудесный, ветра не было, слегка, правда, душно, и вот слышу я голос Выштымова.

Сначала хотел радио выключить, — опять, думаю, разные там неприятности начнутся, не успел вернуться, а тут снова голос Выштымова звучит, пусть себе выступает, главное, чтобы жене не напоминать: сижу и слушаю, — великолепный голос, бархатный, глубокий, да я об этом уже говорил.

Жена входит в комнату, садится, все время вздыхает, молчит, и я молчу, про Выштымова ей ничего не говорю. Стал тоже вздыхать: как-никак три дня где-

то болтался, она где-то болталась, неизвестно еще, где она болталась...

Разные мрачные мысли мне в голову полезли, а этот Выштымов в это время рассказывает о каком-то заводе, и вдруг я слышу, рассказывает он о моей жене, перечисляет ее передовые опыты, всю хвалит, последние известия передает.

Я, естественно, смотрю на нее восхищенными раскрытыми глазами, она у меня молодец баба, все время грамоты получает, дельная такая, толковая, мировая баба, даже Выштымов о ней по радио передает! И я ее тогда спрашиваю:

— А знаешь ли ты, кто это говорит?

Она мне ничего не ответила, так на меня посмотрела, словно я пешка какая, а она царица. Тогда я говорю:

— Это Выштымов говорит.

Она резко встает и уходит неизвестно куда. А на кухне оставляет записку: «Я не желаю жить с сумасшедшим».

Гонора в ней много, тем более по радио похвалили, надулась как пузырь, а ума-то ни на грош, бестолковая, можно сказать, баба, пустая, как чурбан!

Я ее жду, а она не приходит, наверное, живет у своей матери и разные там поклепы на меня наводит, наговаривает. Женщины, они все одинаковы, да я уже об этом говорил, простите, что повторяюсь.

У меня тоже гордость своя, не буду же я за ней бегать, как собачонка какая, чего это я буду за ней бегать, с какой стати, тем более меня сумасшедшим назвала, а я ее никак не обзывал.

И вот сижу как-то я у окна, был закат, люди красные ходят, небо красное такое. Входит она, а в это время как раз Выштымова стали передавать. Я его сейчас же выключил. Да ну его.

А она, представьте, подходит и включает,— вот не ожидал! Ну, думаю, если ей нравится...

Ну, я ей говорю:

— Это ведь Выштымов выступает.

Она подходит ко мне, на ней лица нет, и бьет меня продуктовой сумкой по голове.

Я в отчаянье кричу, зачем же она тогда включает радио, если ей Выштымов не нравится, на что она мне ничего не отвечает, а только хлопает дверью. Загадочные все-таки существа эти женщины, а?

Теперь дальше. Сиж у окна, погоду я уже не помню, да это и не так уж важно, сижу, значит, слушаю голос Выштымова, как вдруг она входит, а я, естественно, бросаюсь, выключаю моментально радио.

Она его тут же включает, и тут уж я ничего понять не могу, провалиться мне на этом месте!

И вдруг она, представьте себе, заявляет мне, что она не может слушать мой голос, а не Выштымова.

После чего я надеваю шапку и ухожу. А на кухне оставляю записку: «Я не желаю жить с сумасшедшей».

Мне очень не хочется идти к ее матери, она там про меня кучу разных гадостей наговорила, я знаю, но все-таки иду — куда же я еще пойду! Ее мать (симпатичная, между прочим, женщина, вот все были бы такие женщины!) соглашается со мной, что, как бы там ни было, что бы ни произошло, ни в коем случае нельзя бить продуктовой сумкой по голове.

В это время по радио говорит Выштымов, но я ей об этом не говорю.

Ее мать, моя теща, такая восхитительная женщина, заставляет меня вернуться, и якобы она договорилась с дочкой по телефону, хотя, как потом выяснилось, она ни о чем с ней не договаривалась.

Возвращаюсь. Вхожу в свой дом. Как всегда, по радио говорит Выштымов. Но я ни слова своей жене об этом не напоминаю.

И жена, довольная, поет песню «Давно мы дома не были», все идет нормально, хорошо, жена идет на кухню, делает голубцы, а я сижу у окна,— паршивая была погода, ветер, окно, правда, закрыто, но все равно смотреть неприятно.

Жена входит с голубцами и спрашивает:

— Ты слышишь, кто говорит по радио?

Я вздрагиваю, но молчу. А жена говорит:

— Это твой Выштымов говорит.

И так спокойно заявляет, как будто ничего никогда не происходило, ничего не было, ни в чем этот Выштымов не виноват. Ей, значит, можно произносить эту фразу, а мне нельзя.

Почти в это же время звонит по телефону теща и удивительно радостным голосом сообщает, что только сейчас по радио говорил Выштымов.

Я подразумеваю, что надо мной специально издеваются, надеваю кепку и уйду куда глаза глядят, к своему товарищу Василевичу.

Василевич мне сообщает, что по радио говорит Выштымов, и я от него уйду.

Я стою на вокзале, чтобы уехать от Выштымова, от всех, кто связан с ним. Но на перроне по радио говорит Выштымов, и я понимаю, что он будет говорить в вагоне, везде и всюду, куда бы я ни уехал.

И я возвращаюсь домой привыкать к его голосу, раз все уже привыкли.

НЕ ХОТИТЕ ЛИ ВЫСТРЕЛИТЬ ИЗ ЛУКА!

Сижу в новой столовой. Новые жилые дома перед глазами. Реактивные самолеты со свистом проносятся над всем новым. Весь район виден через стеклянную стену.

Какое-то новое вино в меню.

— Свободно?

— Пожалуйста.

— Все вокруг новое,— говорит подошедший, садясь за мой стол.

Я киваю.

— Вилка новая, а вот кончик уже откусили,— говорит он.

Я думаю: выпить мне или не выпить?

Мой сосед тоже что-то задумался.

— Мне поесть,— говорю я официантке.

— Пить не будете? — спрашивает официантка.

— У вас в меню есть неизвестное мне вино...

— Сколько?

Опять задумался, черт побери, не могу сразу сказать, сколько мне вина нужно. Может, совсем не нужно. Нет, пожалуй, немного можно...

— Вам бутылку принести?

— Нет, нет, милая, бутылку мне не нужно... хотя, если товарищ, мой сосед, со мной выпьет, пожалуй, можно...

— Разве что по случаю возвращения на родную землю,— соглашается мой сосед.

— А я как был на родной земле, так и сижу, но всегда нахожу предлог выпить,— говорю.

— Предлоги всегда найдутся, это вы верно подметили, предлог можно всегда найти.

— Я просто так выпью, по случаю того, что я здесь сижу,— вот вам и предлог. Поем и выпью. Вот и все.

— Как вам вид из окна? — спрашивает.

— А вам?

— Я был в Скандинавских странах, там, между прочим, тоже — кто бы подумал! — всюю сейчас строят малогабаритные квартирки, потолки низкие, представьте себе...

Я представил себе такие же низкие потолки, как у себя в квартире,— ну и что? Меня низкие потолки вообще не трогают, я даже их не замечаю, а столько разговоров об этих потолках... Довольно-таки противное это новое вино...

— Низкие потолки ужасно давят,— говорит мой сосед.

— Меня не давят,— говорю.

— Удивительно, все жалуются, а вы нет.

— Нет, нет,— говорю,— меня не давят.

Он вздохнул.

— Да бросьте вы,— говорю,— обращать внимание на такую мелочь, что вы, все время вверх, что ли, смотрите? Просто непонятно...

— Вы меня удивляете,— говорит он.

— А вы меня.

— У нас с женой была небольшая лоджия... вид ну прямо на итальянский манер — пилястры, колонны, финтифлюшки разные по всему дому, а здесь дом от дома не отличишь... эта современная архитектура... потолки низкие, однообразие... Между прочим, в Польше, в Варшаве, в новых домах такая же петрушка... нет, нет, зря вы со мной насчет потолков не соглашайтесь...

— Отчего же вы тогда из своей лоджии сюда переехали?

— Видите ли... как вам сказать... я, может быть, и не переехал бы, так жена настояла.

— Больше комнат вам дали или как?

— Столько же комнат.

— Зачем же тогда переезжать было?

— Жена настояла, я же вам объясняю... заставила переехать — раз, говорит, дают, надо брать, делать ей, видите ли, нечего. Будет хвалиться потом знакомым, мол, в новую квартиру переехала, новую мебель купит, как бы жизнь, сами понимаете, обновляется...

Сейчас ведь модно в новые квартиры переезжать, такое громадное строительство разворачивается...

— Та старая квартира у вас не отдельная была?

— Отдельная, что вы, как можно!

— Так зачем же вы тогда переезжали, я вас все-таки никак понять не могу, или вы шутите? Давайте-ка лучше выпьем.

— Если бы не потолки низкие...

— Да плюйте вы на потолки...

— Заплюнуть пара пустяков, это вы верно заметили. Помните, в школе такая игра была — кто до потолка доплюнет?

— У нас не было такой игры, что-то не помню.

— Ну как же, как же! Всем классом, бывало, встанем в ряд и начинаем... Нет, на старой квартире до потолка не доплюнешь, знаете, сколько метров было до потолка?

— Сколько?

— Сейчас вам скажу...

Рев, свист самолетов доносится с аэродрома. Сколько метров до потолка будет в этой столовой? Нормальный потолок. Давит он меня или не давит? Ни черта он меня не давит, выпил бы я еще стаканчик этого нового вина за компанию.

— Четыре метра десять! Вы можете себе представить? — радостно и неожиданно сообщает мне мой сосед, а я уже забыл, к чему он называет мне эти цифры.

— ...четыре метра десять!!!

— Двести тысяч восемьсот четыреста двадцать! — отвечаю я.

— Вот вы смеетесь, а представьте!

Очень нужно мне представлять! Будет он пить еще или не будет? И съел бы я еще. Зачем мне представлять, сравнивать какие-то цифры? Мне захотелось даже сказать ему дружески, на ухо: «Товарищ мой до-

рогой, милый ты мой товарищ, не давят на меня потолки, понимаешь? Не давят!»

Совсем низко летят самолеты, прекрасная картина, лучшего зрелища не придумаешь, отличные самолеты, давай доедай свой шашлык, допивай — и домой! Не надо никакого вина, хватит, вполне достаточно.

— ...к вашему сведению, это еще не самые высокие потолки,— говорит мой сосед.

— А какие самые высокие?

— Сейчас я вам скажу...

Откуда он знает, какие самые высокие потолки? Сидит, вспоминает, соображает, салфетку взял, подсчитывает, похоже, скандинавской авторучкой...

— Да бросьте вы,— говорю,— ни к чему, не так уж важно...

— Я вам хотел показать одну любопытную цифру...

Опять цифры.

Он скомкал салфетку. Что-то у него там с цифрами не получилось.

— Если бы мне сказали несколько лет назад, что на этом месте будет такой вид,— сказал он, задумчиво глядя вдаль через стекло,— я бы не поверил.

— Да, да, многие места буквально не узнаешь через несколько лет, это верно. Такие перемены, колоссальные изменения, темпы сумасшедшие. Я не видел, что было здесь несколько лет назад, но могу представить: была трава, деревья, быть может, болото... может быть, какая-нибудь маленькая деревушка, домики на курьих ножках, речушка, огороды...

— А я помню, видел своими глазами: здесь ничего не было. НИЧЕГО! Вы можете себе представить? Земля — и все. Голая земля.

Мы молча поглядели сквозь стекло.

— М-да... в Скандинавских странах сплошь ездят на велосипедах... целые велосипедные стоянки...— сказал он.

— Я до сих пор не могу научиться ездить на велосипеде... то есть по тихим улочкам, лесным тропинкам могу, но как на шоссе выеду или на улицу оживленную, сейчас же руль начинает в руках вихлять, особенно если навстречу транспорт.

— Недавно я был в Болгарии, вот где вино! Прекрасное вино! Чудесное вино. В прошлом году, будучи в одной заграничной командировке...

— А я был в Ташкенте во время землетрясения,— сказал я.

— Ну и как?

— Как раз эти новые дома, которые вы так ругали, стоят крепко, не шелохнутся.

— А мне говорили — старые целы, а новые разрушены.

— Неправильно вас информировали.

— Кстати, как гостиница?

— Представьте себе, вас дожидается.

— Я скоро собираюсь в Италию, а там видно будет. Возможно, на обратном пути заскочу к приятелю. Работа дипломата — континенты.

Он выпил и сказал:

— Жена меня уважает, когда я основательно выпью.

— Как вас понять?

— Буквально.

— Вы шутите?

— Нет, это вы шутите.

— Как нам тогда поступить, если мы с вами считаем, что оба шутим?

— Как поступить? Надо выпить.

— Принесите нам, пожалуйста, девушка.

— За ваше здоровье,— говорю,— за вашу жену.

Он рюмку уже было ко рту поднес, а тут отставил в сторону. Задумался, что-то с ним, в общем, происходит. Тяжело вздыхает, выпивает, заметно веселеет, на-

чинает что-то рассказывать про Скандинавские страны.

— Я сегодня полдня землю таскал в ведре на восьмой этаж, лифт пока не пустили,— говорю.

— Это еще зачем?

— Наполнял ящики на балконе, цветы буду сажать.

— Так много земли нужно было?

— Большой балкон достался, много ящичков.

— Между прочим, в Скандинавских странах проектируются такие балконы и строятся, и цветы тоже там сажают... кто сажает, кто не сажает, как у нас, в общем.

— Тоже, значит, землю таскают?

— Таскают, а как же, не будешь таскать — не будет цветов. Кстати, уже зима, какой смысл было вам в это время землю таскать, весной уж...

— Случайно получилось, на девятом этаже у меня товарищ живет, прибегает чуть свет, орет: «Земля! Земля!» Как на корабле точь-в-точь после долгого плавания. Ну, я вскочил с постели: что за земля, где земля — ничего понять не могу. А он: «Быстрей! Хватай ведро! Землю привезли! Потом поздно будет!»

— Чего это он?

— Бежим, говорит, скорей, а то потом за тридевять земель землю придется таскать; может, верно... Ну я не помылся, не побрился, схватил ведро и вниз по лестнице, как бы вроде зарядки...

— Ну и натаскали?

— Натаскал.

— А цветы, значит, весной?

— Цветы весной.

— М-да...

— Да-а... вот теперь сижу с вами. Зайду, думаю, стаканчик выпью после трудов.

Он задумался.

— А как вы относитесь к Бакташеву? — спрашивает он ни с того ни с сего.

— К кому?

— Как вам Бакташев?

— Кто это такой?

— Поэт, господи! Бакташева не читали?

— Не читал.

— Ну знаете...

— А что он написал?

— Он написал уйму! Массу стихов! Выпьем за него.

Мы взяли выпили.

— Вы еще съели бы? Быстренько, и уйдем, пить больше не будем,— сказал я.

— Почему не будем?

— Так возьмем?

— Возьмем, возьмем, все возьмем...

— Все будет в порядке!

— Вы что-то сказали? Вы сказали: все будет в порядке? А что может быть не в порядке?

— Пожалуй, вам пить больше не надо.

— Нет, буду! Все время буду! И никто меня не остановит! Вам можно, а мне нельзя? Я не люблю спиртное, терпеть не могу! А моей жене, видите ли, не нравится, что я не пью, скучно, говорит, со мной в компании, все напиваются, как нормальные люди, а ты один, как балбес, сидишь, глазами зыркаешь, никуда от тебя не скроешься, никуда не отлучишься... поганая говорит, привычка, не может напиться... А зачем?! На меня, говорит, смотреть противно, а сейчас на меня не противно смотреть? Идиотство, форменное идиотство!!! Я теперь каждый день буду напиваться, я ей покажу!..

— Не стоит вам расстраиваться... выпейте стаканчик — и айда, хватит, достаточно тут с вами прохлаждаемся...

— Вы скажите мне: ваша жена хвалит вас, когда вы пьете, неужели хвалит?

— Напротив... Если переберешь, а поскольку частенько перебираешь... за что же, собственно, хвалить?..

— Тогда за что меня ругает? Ума не приложу. Хемингуэй, говорит, пил — это правда? Может, он и не так уж пил, а? Все больше на него ссылается, портрет его приколотила на стенку...

— Действительно, он выпивал... шампанское, красную икру и «позвоним Капусте», помните?

— Читал, читал, жена вслух читала... О Марлен Дитрих идет речь, красивая женщина, актриса и позволяет себя Капустой называть, парадокс!

— Так это же по-дружески, любя.

— Как то есть по-дружески? Что значит по-дружески? Она же женщина!

— Ну и что?

— Вы считаете, ничего?

— А что?

— Нет, вы серьезно?

— Вполне.

— Тогда, значит, меня плохо воспитывали... Почему меня так плохо воспитывали, вы мне не ответите, а? Не выпить ли нам по этой причине?

Он чуть не плакал. Ругал свою жену. И тут же хвалил. Но больше всего он себя ругал. Немножечко неприятно было на него смотреть. Но в общем-то он не самое плохое впечатление производил. Просто, видно, маленько запутался.

— Бросьте, — говорю, — свою жену в таком случае, раз такое дело, детей у вас нет, не так страшно... ничего я больше вам посоветовать не могу.

— Как не страшно? По-вашему, не страшно? Бросить ее? Да вы что? Как же так?!

— Уходят же другие, если неумоги, как вам, к примеру...

— Знаете что... Проводите меня домой... Я вас прошу... при вас она не посмеет, сделайте такую любезность... я боюсь... произойдет землетрясение...

— Вы же говорили, она вас ругала за то, что вы не пьете. Сейчас вы выпили. Выходит, жена вас будет только хвалить.

— Вы думаете?

— Вы же сами говорили.

— Да, да... но я же не с ней выпил... если бы я с ней выпил, нет, я боюсь...

— Первый раз вижу человека, чтобы так своей жены боялся.

— О! Вы ее не знаете! Нет, вы ее не знаете!

Мне любопытно стало, что у него за жена. Зверски он ее боялся. Буквально дрожал от страха.

— Не волнуйтесь,— говорю,— не выпить ли нам еще, я вас провожу, вы не волнуйтесь.

— Давайте, давайте пить, а потом вы увидите настоящее землетрясение...

Мы выпили. Я расплатился.

Мороз был крепкий, но мы не замечали. Выпили по кружке подогретого пива в новом красном ларьке на углу. «Мороз и пиво — день чудесный...» — вертелось у меня в голове такое дурацкое сочетание слов. Я взял его под руку. Путаным жестом руки показывал он мне свой дом. Дом его был где-то рядом.

— Вот мои окна,— сказал он наконец, когда мы не совсем прямым путем подошли к его дому.

Окна светились божественно. Одно окно синевато-голубое, другое — сиреневое.

Мы поднялись по лестнице. Его шаги становились все более неуверенными, по мере того как мы подходили к его квартире.

Он стоял шатаясь, кивая все время на звонок, чтобы звонил я. Я позвонил.

Она появилась в дверях, как богиня.

Он, как вошел, тут же свалился на диван,— скудно с его стороны.

— До свидания,— сказал я.

— Погодите,— сказала она,— вы любите стрелять?

— Как то есть? — спросил я.

— Из винтовки, из револьвера?

— Как вас понять?

— Вы стреляете из лука? Мне подарили настоящий индейский лук. Вы видите его? — Она кивнула на мужа.— Недавно он отсутствовал пятнадцать суток...

— О да, он мне рассказывал, он всюду побывал, он дипломат...

— Вот его дипломатическое положение! На тахте! Нигде он не был, никуда не ездил! Играет дипломата, конструктора, черта лешего, а люди верят. Если бы ему не верили...

— А кем он работает? — спросил я.

— Артист.

Я так и не понял, артист ли он театра или в жизни артист.

— Вы не хотите пострелять из лука? — спросила она.— Не хотите ли вы выстрелить из лука в его зад? — Она засмеялась, мотнув головой, и волосы закачались...— Я могу вам принести лук, могу доставить вам такое удовольствие...

— Благодарю вас,— сказал я,— у меня такого желания нету.

— Как жаль! А у меня есть! — Она снова мотнула головой.— Мне вас жаль! Вы получили бы громадное удовольствие!

— Так, значит, он артист...— сказал я.— До свидания!

Я хлопнул новой дверью с силой, на какую был только способен. Сошел по новой лестнице. Вышел на новый проспект Космонавтов.

Дома-то меня жена ждет, дети, а я болтаюсь...

ХУДОЖНИК

Зачем я ему был нужен, я не мог понять.

— Я был бы очень признателен вам,— говорил он мне по телефону,— если бы вы посетили мою выставку офортов и монотипий в зале для игры в мяч во Дворце культуры.

Мы с ним когда-то учились в художественном училище — не то он был старше, не то я был старше, я его не очень-то хорошо помнил: мы с ним на разных курсах учились.

Зачем я ему все-таки был нужен? Но, видно, я был ему просто необходим, раз он мне по нескольку раз в день звонил, когда меня дома не было.

Потом он поймал меня; не очень-то хотелось мне ехать на его выставку, дел у меня по горло было, но я все-таки поехал — он бы от меня не отстал, я это сразу понял.

Он встретил меня у двери.

— Я всех своих старых приятелей приглашаю на свою выставку,— сказал он.

Я никогда не был его приятелем. Мало того, я понял, что никогда не видел его и никогда не учился с ним в одном училище. Он совсем другой человек, не тот, за которого я его принял по телефону.

— Почему вы считаете меня своим приятелем? — спросил я его мягко.

Он молча и торжественно раскрыл передо мною книгу отзывов. Попросил подумать, перед тем как написать отзыв о его картинах. Он, разумеется, хотел, чтобы я написал ему туда слова лестные и приятные. Но я не смотрел еще выставку. А это, видимо, его не интересовало. Его главным образом положительный отзыв интересовал. Он протягивал книгу с улыбкой, и опять-таки я не мог понять, зачем ему мой отзыв. Я

не представитель Министерства культуры или Академии художеств, не имею влияния в художественных кругах, не имею приятелей в этих сферах, не имею влиятельных родственников и ни в коей мере не мог бы способствовать успеху его творчества или, в крайнем случае, устроить выставку его работ вторично. Я сам, в конце концов, рисую этикетки на различные коробки для нашей пищевой промышленности, ни разу в жизни не выставлял своих произведений, которых, кстати, у меня и нет.

Я прошелся по залу. Работ было много. Все стены были завешаны работами. Если это только можно работами назвать. По моему мнению, здесь была бессмысленная трата времени. Глуповатый модерн, рассчитанный на количество. Я подивился энергии, направленной не в ту сторону таким молодым человеком. Он в люди выбивался любым способом; странное все-таки занятие — в люди выбиваться любым способом.

— Послушайте,— сказал я,— разве мы с вами знакомы?

Он обнял меня. Я попробовал отстраниться, но было поздно. Он цепко обнял меня и сказал:

— Мы с вами встречали Новый год.

— Когда? — спросил я.

— Это было давно... Там было много народу, вполне возможно, вы меня не помните. Вы сами изменились до такой степени, что вас не узнать. Я бы вас ни за что не узнал, встретив на улице,— совсем другой человек! Но этот факт не мешает вам способствовать моему успеху.

— Мне способствовать? — спросил я.

— Вы — мне,— сказал он улыбаясь.

— Какая-то ошибка,— сказал я,— какая-то путаница...

Он стал стыдить меня.

Он сразу перешел на «ты»:

— Ведь ты мне обещал!

— Я не обещал,— сказал я.

— Когда мы встречали Новый год,— сказал он.

Он наступал на меня, я отступал, а он говорил:

— Тогда вы много выпили, и вы говорили... ваша поддержка... всегда... и всюду... от вас... мы... дружба, поддержать... во что бы то ни стало...

Я, наверное, должен был уйти. Все это выглядело странным. Конечно, я должен был повернуться и уйти.

Но что-то останавливало меня, хотелось выяснить.

— Вы уверены, что мы с вами знакомы? — спросил я.

Он опять кинулся на меня с объятиями, но на этот раз я отстранился, и он чуть не упал.

Вполне возможно, думал я, мы с ним встречали Новый год в какой-нибудь компании и он меня не так понял. Но это не значит, черт возьми... с какой стати?! И между тем мне было интересно. Зачем ему книга, мой отзыв зачем? Ну, книга еще туда-сюда, тщеславный парень, но мой отзыв ему зачем? Да что мне, жалко, в конце концов!

— Давай книгу,— сказал я,— давай...

И я сразу же, с ходу, написал ему размашисто на всю страницу:

«Ничего подобного я не видел ни в одной стране»

Я положил ручку на стол и сказал:

— Только я не был ни в одной стране, вот что плохо...

Я даже, кажется, хихикнул после этих слов.

Он сразу резко изменился в лице. Бедняга, он придавал колоссальное значение моему отзыву!

Он разглядывал мою подпись. Шевелил губами и был чертовски сосредоточен.

Потом взглянул на меня.

Глаза его блеснули недобрим холодным блеском.

Этого мне не хотелось. Можно было с ним поговорить. Покритиковать его выставку, его неправильные понятия... А он зло и холодно смотрел на меня, а потом сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать.

— Ну, не о чем, так не о чем,— сказал я.

Я с ним то на «ты», то на «вы» начал, впрочем, и он тоже. Глупости сплошные, оторвали от работы и еще разговаривать не хотят...

Я к нему хорошо относился. Ко всем я хорошо относился. Никогда ничего плохого я к нему не имел. Никогда я его не знал раньше и не видел. Монотипии и офорты, в общем, в порядке вещей. Ерундовые, правда, работы, но человек же их делал, а не обезьяна, непременно там есть что-нибудь хорошее, если их человек делал, если повнимательней, душевней отнестись, хотя, безусловно, такие работы обезьяна тоже может сделать...

Я хотел похлопать его по плечу, успокоить, но он вырвался, отбежал в конец зала и оттуда крикнул:

— Ы-ых! — подняв вверх кулак.— Вы не Федоров! Вы — другой!

А почему он решил, что я Федоров?!

БОЛЬШИЕ СКОРОСТИ

В купе были я и он.

Поезд мчался, и за окном, как всегда, все мелькало.

— Несется как бес,— сказал он.

— Это верно,— сказал я,— здорово несется.

— Сто двадцать километров в час,— сказал он.

— Неужели сто двадцать? — сказал я, хотя знал, что сто двадцать.

— Да, да! — сказал он.— Представьте себе! И не то еще будет!

— А что будет? — спросил я. Хотя я-то знал, конечно, что будут поезда когда-нибудь еще быстрее ездить.

— Вы «Технику — молодежи» не читали? — спросил он.

— Не читал, — сказал я. Хотя, конечно, кое-что я когда-то читал.

Он покачал головой.

— С детства не имел влечения к технике, — сказал я.

— М-да... — сказал он задумчиво, — вот возьмите некоторых детей. Один возится, к примеру, с разными машинами, колесиками, крутит, отвинчивает, интересуется, что там внутри. А другой ребенок, к примеру, возится с землей, копает, пересыпает землю с ладони на ладонь, как бы вроде получается — с детства в каждом заложено этакое влечение...

— В земле все дети копаются, — сказал я.

— Не скажите... — сказал он, — не скажите... Вот у вас какая профессия?

— Я с детства все рисовал, — сказал я.

— Значит, художник? — Он с любопытством стал смотреть на меня. — У меня был брат художник, — сказал он.

— Как фамилия? — спросил я.

Он назвал фамилию.

— Не знаю, — сказал я, — такого не знаю.

— Простите, а у вас какая фамилия? — спросил он.

Я назвал свою фамилию.

Она ему ничего не говорила.

— А ваша как фамилия? — спросил я.

Он назвал свою фамилию. Она мне тоже ничего не говорила.

— Я инженер, — сказал он. — Инженер по тепловентиляции. Слышали про такое?

— Конечно, слышал, — сказал я. Хотя я впервые

слышал, что существуют инженеры по тепловентиляции.

— Это напрасно вы не читаете «Технику — молодежи», — сказал он.

— А вы художественную литературу читаете? — спросил я.

— Хемингуэй, — сказал он с улыбкой, — Бёлль, Фолкнер, Апдайк.

— Сэлинджер, — сказал я, и мы вместе улыбнулись.

— «Особняк», — сказал он с улыбкой.

— «Деревушка», — сказал я с улыбкой.

— «Глазами клоуна», — сказал он с улыбкой.

— «Праздник, который всегда с тобой», — сказал я с улыбкой.

— «Кентавр», — сказал он с улыбкой.

— «Люди не ангелы», — сказал я с улыбкой.

— «Люди на перепутье», — сказал он с улыбкой.

Мы всю улыбались.

Он мне так понравился! И я ему, видимо, тоже понравился, иначе он бы так не улыбался.

Мы с ним почти что одинаково думали. Редко я встречал человека, чтобы мы с ним почти что одинаково думали. Это было поразительно! Мы с ним почти что все читали!

Поезд подходил к станции.

— А как вы по части женщин? — спросил он.

В этот раз я не понял его.

— Что вы имеете в виду? — спросил я.

— Об этом мы еще поговорим, — сказал он. — Не взять ли нам полбанки?

— Водки? — спросил я.

— Ага, — сказал он, и глаза его блеснули.

— Не много? — спросил я.

— Как то есть? — спросил он.

— Не многовато ли?

Он засмеялся.

— Чепуха! Вы сколько можете выпить?

— Как когда, — сказал я.

— И я то же самое, знаете, как когда придется, — это вы верно заметили. — Он так оживился, просто чудо! И руками вовсю махал. И слова у него друг на друга налетали, в каком-то он, в общем, был восторге. То ли он от меня был в восторге, то ли от того, что выпивка предстояла.

— ...когда я был моложе, — он прямо захлебывался словами, — я выпивал, ей-богу, не вру... сейчас я вам скажу... однажды, это было дело в Новочеркасске... на четверых было...

— Кто пойдет? — спросил я.

— Чего? — спросил он.

— За бутылкой сходите вы или я?

— Я схожу, — сказал он. — Так вот... я тогда выпил сразу...

Я опять перебил его. Что-то такое сказал ему насчет денег, насчет того, что, когда он вернется, я ему тогда и отдам, а он мне ответил, что это пустяки, что это, пожалуй, только начало, а там видно будет. Я сказал, что в вагоне жарко, то есть душно, а он ответил, что вовсе не так уж душно, как мне кажется.

Что-то он мне стал меньше нравиться. И совсем мне неинтересно было слушать, сколько он выпивал когда-то в молодости в Новочеркасске. Он и сейчас был молодой. Можно подумать, что все это сто лет тому назад было. Не очень-то мне нравятся люди, которые так говорят. И потом мне показалось, что вовсе он не из таких людей, которые пьют до одурения. Знаете, бывают такие типы — безобразно напиваются, все им мало и мало, начинают вас потом оскорблять разными словами ни за что ни про что... Почему это я, видите ли, должен выслушивать разную пьяную болтовню, за какие такие коврижки, в конце концов! Я

потому это все говорю, что знаю, не первый раз со мной такие истории приключаются. А то, что он Хемингуэя читал,— велика важность!

В общем, я о нем как-то нехорошо подумал, без всяких на то оснований. А потом, когда он пошел за водкой и я стал смотреть в окно, он, наоборот, даже очень симпатичным мне показался, совершенно напрасно, наверное, я о нем всякое такое подумал.

Он пробежал по перрону очень быстро. И скрылся за углом вокзала. Я все смотрел в окно, а он не появлялся.

Потом поезд дернулся, и скоро он мчался уже сто двадцать километров в час. За окном опять замелькало.

Я думал, может, он еще появится. Может, он как-нибудь сел. Хотя я смотрел в окно. Я видел, что он не сел.

Я стал думать о нем. Он купил эту бутылку, а выпить ему не с кем. Один в этом городе с этой дурацкой бутылкой. И наверное, у него тут нет родственников, иначе они бы его встречали... Он стоит на перроне и видит последний вагон в виде точки.

Сто двадцать километров в час! Не шутка!

И не то еще будет!

ЛЕЙТЕНАНТ

Я проснулся, услышав стук в дверь. Вошел старый школьный товарищ. Я не сразу узнал его, я не видел его много лет, а как только узнал, сказал:

— А... Миша...

— Петя! — сказал он. Он был рад.

Я сидел в трусах на кровати. Кровать была высокая. Миша был в новой военной форме. Он был лейтенант.

- Ты лейтенант,— сказал я.
- Я лейтенант,— сказал с радостью Миша.
- М-да...— сказал я.
- А ты? — спросил Миша.
- Я не лейтенант,— сказал я.
- Почему же?

Как мне показалось, он удивился. Я посмотрел на него с интересом.

- Не знаю,— ответил я.
- А я лейтенант,— сказал Миша.
- Ты лейтенант...— сказал я.
- Лейтенант я,— сказал Миша.
- Лейтенант...— сказал я.
- Давно это было,— вздохнул вдруг Миша.
- На одной парте сидели...
- И уже лейтенант,— сказал Миша.
- Лейтенант...— сказал я.

Мы помолчали.

Потом попрощались.

Он пожал мне руку и отдал честь.

- Лейтенант,— сказал я,— конечно...

Он пошел. На площадке лестницы остановился. Повернулся ко мне весь в улыбке. И опять отдал честь. Только щелкнул отчетливо каблуками. И уже пошел окончательно.

РАССКАЗ ОБ ОДНОЙ КАРТИНЕ СЕЗАННА, МАЛЬЧИКЕ И ЗЕЛЕНЩИЦЕ

Странный был человек Поль Сезанн! Напишет он холст красоты небывалой, да вдруг не понравится он ему. И он режет его ножом — вот так: раз-два — и кидает в окно. А окно мастерской выходило в сад. В саду часто играли дети. Они мастерили щиты и латы

из брошенных Полем Сезанном холстов и с гиком и свистом носились по саду. Они дырявили живопись палками, делали из холстов корабли и пускали их в лужах. Только один очень маленький мальчик, что жил напротив, однажды нашел холст Сезанна и притащил домой. Мать мальчика, очень сварливая, как увидела холст — закричала: «Что за дрянь ты таскаешь в дом!» — и выбросила его в окно.

Проезжала зеленщица на базар. Она подобрала холст на дороге и положила в свою тележку. «Это очень красивые цветы,— решила она,— я повешу их в своем доме».

АРФА И БОКС

Мое детство было нерадостным. Оно омрачалось музыкой. Наш славный город сходил с ума, он имел армию музыкантов. Все играли на чем-нибудь. Кто не играл ни на чем, был невежда.

Представьте: со всех сторон звуки, весь воздух насыщен ими, на улицах дети дудят в дуду, бьют в такт по заборам и хором поют. Моя мать играла и пела. Отец не пел, но играл.

Я слушал их, поднимая бровь. Я всегда поднимал одну бровь, если был недоволен. Но так как я слушал их каждый день, одна бровь моя стала выше. Но им этого было мало. Они стали учить меня. Рояль стоял у нас в правом углу. В левом углу стоял я.

Отец кричал, сверкая глазами: «Ты будешь играть у меня, сукин сын,— или будешь стерт в порошок!» — и ставил меня носом в угол. Мать твердила одно и то же: «Как он не может понять, так приятно уметь играть в обществе!»

Но я и ухом не поводил, я терпеть не мог этот чертов рояль и долбежку по клавишам.

Мать методично играла мне и заставляла меня слушать. Она говорила таинственно: «Это Шуман, как он прекрасен! Он очень меланхоличен...» Я охотно поддакивал: «Да, он и вправду меланхоличен, я не подозревал об этом».

Потом приходил отец. Он сажал меня за рояль: «Сын мой будет играть лучше всех! Он затмит весь мир!» Но я не был уверен в этом. Иногда я пробовал возражать. Я заявлял: «Мне не нравится музыка. Я не хочу играть!»

Тогда мать начинала плакать, а отец выходил из себя. «Я сотру тебя в порошок,— надрывался он,— я, кажется, обещал тебе это! И сделаю это без всяких трудов. Я выполню свой родительский долг!» Он с силой топал об пол ногой, и со стен падала штукатурка. Он тяжело дышал.

Я был еще мал и не мог представить, как он это сделает, и сначала очень боялся, но постепенно привык.

В воскресенье мы ходили в оперу. От оперы я болел. В ушах у меня стоял гул. Там беспрерывно пели. Я не мог понять этих прелестей.

Я просил отца: «Не веди меня больше в оперу. Я лучше буду стоять в углу».

Отец страдал. Я чувствовал это. Ему было обидно, что у него такой сын, но я тоже был не виноват в этом.

Однажды отец сказал: «Пожалуй, он будет плохой пианист. Я это предвижу. Он уже учится много лет, а играет так, словно только что начал».

Я чуть не подпрыгнул от радости. Я думал, меня прекратят учить. Мать сказала: «Я тоже предвижу это, но музыка так прекрасна...» — и лицо ее стало грустным.

Отец сказал: «Он будет учиться на арфе. Арфа — это божественно! В оркестре арфа — царица!»

Мать сказала: «У нас в городе только один арфист».

Отец сказал: «Тем лучше. Он умрет — будет ему замена».

Итак, я занялся арфой. Арфа была куда хуже рояля. Струны все время рябили в глазах, и я дергал не ту струну. Мой педагог нервничал. Он кричал мне прямо в ухо: «Не та струна, бог мой, совсем не та, я буду бить вас по пальцам». Я сносил оскорбления и подзатыльники. И продолжал дергать струны не те, что нужно.

После нескольких лет занятий на арфе я вдруг увлекся боксом. Этот спорт восхитил меня. Удары по носу, по челюсти, в печень, в селезенку приводили меня в восторг. Я весь отдался новому делу. Я пропадал в спортзале целыми днями. У меня опухал нос и губы, и синяки закрывали глаза. Я был счастлив.

Но на арфу все же ходил. Подергав струны часок-другой, я бежал за новыми синяками.

Мой первый синяк увидел педагог: «Кто тебя так трахнул в глаз?» Глядя на него одним глазом, я сказал: «Никто...»

«Ты упал?» — спросил он. Я кивнул.

В другой раз синяков было два. Он не на шутку встревожился: «Кто тебе трахнул в два глаза?» Я сказал: «Никто...» — «Ты опять упал?» — удивился он. Я опять кивнул.

В третий раз я опух весь. Я слегка различал педагога, а струн не видел совсем. Я дергал их сразу по десять штук, и ему не понравилось это.

«Вы... вы убирайтесь ко всем чертям! Вы... вы не музыкант!» — «Почему?» — спросил я. «У вас мерзкая вздутая рожа, и... вообще вы олух!»

Дома я заявил: «Меня выгнали с арфы. И с меня хватит! Не вздумайте предложить мне другое — кларнет или скрипку. Ни на чем я играть не буду». Мать

заплакала. Отец спросил: «Ты будешь боксером?» — «Да», — сказал я. «Я сотру тебя в порошок!» — крикнул отец. Мать сказала: «Как глупо. Он уже стал большой».

«Это правда...» — сказал отец.

СЕРЕБРЯНЫЕ ТУФЛИ

Я свою подметку каждый день по утрам пришивал, а к вечеру она у меня отваливалась. Как сапожник пришивает подошвы, что они долго не отлетают? Этот вопрос меня тогда очень интересовал. И ходить-то я старался осторожно, чтобы подошва эта раньше времени не отлетала. А когда в футбол играли, стоял только и смотрел, до чего обидно! Но она все-таки отлетала, не дождавшись вечера, и хлопала, как выстрел, при ходьбе. Если я издали видел знакомых, останавливался и стоял, чтобы, чего доброго, не заметили моей ужасной подошвы.

Пришло лето, и я эти свои ботинки выкинул и шлепал босиком. Раз лето. Раз война. Нужда. Отец на фронте. Да мы, мальчишки, могли и без ботинок обойтись. В такое-то время! Только в школу босиком не полагалось. Да я и в школу приходил. Когда учитель меня спросил, неужели у меня нет каких-нибудь старых ботинок, чтобы в приличном виде явиться в школу, я ему ответил: «Нет, Александр Никифорович». Он пожал плечами и сказал: «Ну, раз нет, значит, нет». Так просто тогда было с этим делом!

И вдруг Васька в своих серебряных туфлях появился во дворе. Вот это была картина! Самые настоящие долгоносики, остренькие, длинные носы, а блестят-то как! А как они скрипели! Васька Котов вышел в этих своих серебряных потрясающих туфлях, а я открыл рот и долго не мог закрыть его.

— Такие туфли носят только на балах и только в Аргентине,— сказал Васька.— Вовнутрь-то, вовнутрь посмотри!

Он снял туфлю, и я ошалело смотрел внутрь туфли на аргентинское клеймо. А Васька стоял на одной ноге, держась за мое плечо, важный и довольный.

Еще бы! Там, в далекой Аргентине, пляшут на балу аргентинцы в серебряных туфлях, а теперь в них будет ходить по нашим бакинским улицам Васька Котов.

Собирались ребята, охали и ахали и трогали руками серебро.

— Купили на толкучке,— рассказывал Васька.— Совершенно случайно. Абсолютно по дешевке достались, просто-напросто повезло...

Кто-то попросил померить, и Васька сразу ушел. Померить он никому не хотел давать.

В этот вечер мы с ним пошли в оперетту. Я босиком, а он в своих долгоносиках.

Некоторые оперетты мы раз двадцать видели, а тут новую оперетту показывали. Честно говоря, мы только потому и ходили на эти спектакли, что через забор лазали. А так с гораздо большим удовольствием в кино пошли бы.

Рядом с его серебряными туфлями нелепыми и безобразными казались мои собственные пыльные ноги, а пальцы, казалось, смешно топорщатся в стороны.

Да и другие мальчишки в оперетту босиком ходили, никто на них особого внимания не обращал. Ничего такого в этом не было, тем более оперетта в летнем саду помещалась.

Васька меня на забор посадил, снял туфли и мне протянул. Ему в них на забор никак было не забраться. А мне с этими туфлями сидеть на заборе тоже неудобно. Одной рукой туфли держать, а другую ему протягивать.

Кричу:

— Давай скорее руку, а то свалюсь!

Он замешкался, стал почему-то носки снимать, хотя и в носках можно было лезть спокойно. Как раз ребята подошли, торопят, никому неохота в оперетту опаздывать.

В общем, он мне руку подать не успел, я не удержался и на ту сторону свалился вместе с туфлями. Хорошо еще, удачно упал, ничего такого не приключилось. Только в рот земля попала.

Я эту землю выплюнул, встал, отряхнулся и жду, когда Васька появится. Ребят-то там много, помогут ему на забор подняться.

А он все не появляется.

Мимо прогуливаются люди по широкой аллее в ожидании звонка и, как мне кажется, на меня поглядывают.

Тогда я надеваю Васькины туфли на свои ноги и отхожу в более темное место.

Но Васька все не появляется.

Я еще немного постоял и пошел к выходу. А прямо мне навстречу милиционер ведет Ваську за руку. На одной ноге у него носок, а другим носком он вытирает слезы.

Васька, как только увидел меня в своих туфлях, зарорал на своим голосом на всю оперетту:

— Свои грязные ноги засунул в мои туфли!!!
Аааа!!!

Даже милиционер растерялся.

— Ты мне смотри вырываться! — говорит. — Ишь ты! В одном носке в оперетту собрался, да еще вырывается!

— Это правда, — кричу я, — на мне его туфли!

— Не суйся не в свое дело! Тоже мне защитник нашелся!

Милиционер меня и слушать не хотел.

Вокруг говорят:

— Смотрите-ка, смотрите, у парнишки носок на одной ноге...

— А по-вашему, если бы он в двух носках явился сюда, было бы лучше?

— Ему бы на сцену в таком опереточном виде!

Я стал снимать туфли, чтобы Ваське отдать, но меня оттеснили.

Ведут Ваську в пикет. Впереди большущая толпа. Ну и дела!

Пока Ваську вели, он все время оборачивался и повторял:

— Снимай мои туфли! Снимай мои туфли!

Он только о туфлях и думал, смелый все-таки человек, совсем не думал о том, что попался.

Я все старался в пикет пройти, но меня не пустили.

И чего он о своих туфлях расстроился? Не мог же я их все это время в руках держать! Подумаешь! Как будто бы их помыть нельзя!

Я подхожу к фонтану и тщательно мою его туфли. Все старался поглубже засунуть руку в носок, чтобы как можно лучше вымыть. И вдруг замечаю, что эти прекрасные туфли расползаются, а блестящая серебряная краска слезает, как чешуя с рыбы...

В это время из пикета выходит Васька и направляется ко мне.

Подходит.

Я стою опустив голову, держу в каждой руке по туфле.

Его лицо бледнеет при свете фонарей.

— Ты стёр аргентинское клеймо?! — вдруг кричит он сдавленным голосом.

Васька Котов выхватывает у меня свои туфли.

— А почему они мокрые? — спрашивает он и бежит к фонарю.

Там, у фонаря, он сразу замечает всю эту ужасную неоправимую перемену со своими туфлями...

— Это не мои туфли!!! — кричит он.

— Все смылось, смылось, смылось... — твержу я.

— Как это смылось?! — орет он визгливо.

Распахнулись двери зала. Народ хлынул из дверей и увлек нас к выходу.

Я потерял в толпе Ваську, но при выходе он снова оказался рядом со мной и прошипел мне в самое ухо:

— Отдавай мне новые туфли... слышишь! Отдавай!

Я понимал его.

— Какие были! — заорал он.

В это же самое время мне наступили на ногу, и я скорчился от боли и крикнул ему со злостью:

— Пошел ты от меня со своими долгоносиками!

— Ах, так! — крикнул он и, рывком вырвавшись из толпы, помчался вверх по улице по направлению к дому, а я пошел за ним.

Всю ночь мне снились танцующие аргентинцы в серебряных ботинках, а когда под утро мне стали сниться танцующие крокодилы в серебряных ботинках, я в ужас проснулся.

Пришел Васька. В каких он был рваных сандалиях! Трудно даже себе представить. Каким-то чудом эти сандалии держались на его ногах.

— Мне нечего надеть, — сказал он тихо.

Я смотрел на его сандалии, вздыхая и сочувствуя ему.

— А те никак нельзя зашить? — спросил я тихо.

— Никак, — сказал он.

— Неужели никак нельзя зашить?

— Они не настоящие, — сказал он, опустив голову.

— Какие же они?

— Они картонные, — сказал Васька.

— Как?

— Они театральные,— сказал Васька.— Все равно бы они развалились...

— Как то есть театральные?

— Ну, специально для театра, на один раз... у них там делают такие туфли на один раз...

— Зачем же тебе их купили?

— Случайно купили...

— Значит, они театральные?

— Театральные...— сказал Васька.

— Тогда черт с ними! — сказал я.

— Черт с ними...— сказал Васька.

— Это замечательно, что они театральные! — сказал я.

Хотя ничего замечательного, конечно, в этом не было. Но все равно это было замечательно!

— Снимай сандалии,— сказал я,— зачем тебе сандалии! Снимай их, и пойдем в оперетту!

БОЧКА С ТВОРОГОМ, КОШКИ В МЕШКЕ И ГОЛУБИ

У Толи летом погибла дочь. Ей было двенадцать лет, симпатичная девчонка, училась старательно. Поехала к бабушке на дачу. В солнечную ясную погоду выехала на велосипеде и, может, перестаралась, нажимая на педали, очень быстро выскочила из-за поворота и навстречу транспорту катила на своем велосипеде по шоссе. А шофер не успел затормозить свой самосвал.

Поехала на дачу и погибла.

Толя дочь похоронил и запил.

День не вышел на работу, второй день, много дней. А работал он тоже шофером, ездил в дальние рейсы в разные города. За прогул его уволили, и с машиной он расстался. И тогда пошел работать грузчиком в

продовольственный магазин. Тут он был человек на подхвате: принесет, подтащит и разгрузит что требуется. Работал он на так называемой эстакаде, площадке, где машины товар разгружают, с легкостью и проворством — здоровья он был отменного, с редкою силой. Когда вспоминал о дочери, что ее нет в живых, — выпивал и забывался.

Через некоторое время дом, где летом дочка жила, дотла сгорел от молнии. От всего этого жена захворала, и ее отправили в больницу.

Свалилось на Толю столько, что и врагу своему, как говорится, не пожелаешь. А он продолжал на своей эстакаде крутиться и вертеться, грузить и разгружать, таскать, возить на тачках товар в разные лотки и палатки. «Сюда, Толя!», «Давай, Толя!», «Быстрей, Толя!», «Нажимай, дорогой!», «Вези, да поскорее! — так каждый день. И Толя вез, бегал и нажимал. Не возражал. Парень честный. К работе привык. Выпивал. Да при его здоровье все как слону дробина казалось.

Дальше. Привезли товар. Как всегда. И вместе с другим товаром бочку с творогом. Вкатить такую бочку по доске на эстакаду одному возможно. Но тут доски под рукой не оказалось. Поднять эту бочку на эстакаду руками навряд ли кому удастся. Творог сам по себе вроде легкий товар, да набито его там черт знает сколько. И вот, разозлившись, может, хлебнув лишнего, решил Толя эту бочку все-таки перекинуть на эстакаду.

— Да неужто ты один собираешься? — спросил шофер.

— Давай тогда вдвоем, — сказал Толя.

Тут подошел один тип и говорит:

— А сколько тебе, парень, платят?

— Пошел бы ты подальше, — отвечает ему Толя.

— Да я к тебе с предложением и по-доброму, — тип ему отвечает.

— Катись ты со своими предложениями подальше,— говорит ему Толя.

— Да ты ведь не знаешь, какие мои предложения,— говорит тип.

— Подсоби вот лучше с бочкой,— говорит Толя.

Так тип руками замахал и отошел в сторонку. Оттуда говорит:

— Чем такие бочки таскать, надрывать, послушал бы меня, чудак.

Шофер говорит:

— Давай, Толя, его послушаем, чего он сказать собирается.

А Толя возмущается:

— Помочь не хочет, гад, болтает тут, пусть-ка лучше он идет, пока я его не разукрасил.

Тот обиделся:

— За что это меня разукрашивать, за добрый совет? Да ты умный или нет, скажи на милость?

А бочка с творогом стоит в кузове и дожидается, пока ее перекинут на эстакаду. А вокруг нее разговорчики пока что совершенно пустые происходят. То да се, а в общем, ничего. Шоферу ехать надо, да, видно, ему интересно стало предложение типово услышать. Кто знает, а может, это такое предложение, что машину свою бросай и на новое дело переходи.

Толя говорит:

— Ну вас, ребята, отойдите, я этот творог на эстакаду перекину.

Он слушать никого не любил. Упрямый был.

Тип говорит:

— Ну ладно, я уйду, а вы пропадайте, дураки.

— Да погоди, погоди,— говорит шофер,— говори — чего там у тебя за совет.

И Толя сдался. Ждет. Какой ему сейчас совет подадут, какое предложение.

Тип говорит:

— Вот сколько у нас в городе кошек?

Толя с шофером переглянулись: кто знает, сколько их, куда он клонит?

Тот дальше:

— Несметное количество кошек в нашем удивительном городе. Сколько их бродит, сосчитайте, братцы. И невдомек вам, что на самые что ни на есть научные, полезные обществу цели кошки требуются — во! — И тип ладонью по горлу: мол, не хватает этих кошек научным работникам.

— Ну? — разом не поняли Толя и шофер.

— Мешок кошек научному учреждению, а деньги в карман.

— Какой мешок?

— Кошек, — сказал тип.

— Ну, кошек... кота, что ль, в мешке? Давай дальше. Что ты хитришь?

— Да не хитрю, — обрадовался тип, что его теперь слушают. — Одному мне ловить кошек неохота. Я их уже насадал государству порядочно. Мне партнеры нужны. Сетки есть. Сачки. Все есть. Партнеров нет. Ну? Уразумели?

Шофер стоял с открытым ртом, а Толя сказал:

— Не чумной ты? С головой у тебя все в порядке? — И вдруг захохотал: — Ну и дает! Кошачник! Ну и ну!

Шофер поинтересовался:

— Да где же ты столько кошек бесхозных видел?

— Ну, в подвалах, например, — очень даже спокойно сказал тип. — Да мало ли где еще.

— И сколько стоит одна кошка? — поинтересовался шофер.

— Смотря какая кошка.

— Ну, в среднем.

— Копеек шестьдесят.

-- Вали отсюда со своими кошками,— сказал Толя.

-- Эх вы.— Тип топтался и сплевывал на землю. Склонял голову набок и с каким-то даже презрением рассматривал грузчика и шофера.

— Настроение у меня знаешь какое? — сказал ему Толя.— Сдам твой труп в корзине вместо кошек. И все.

— А часы у меня знаешь какие? — не унимался тип.— Без стрелок. Электронное табло. Новаторство. Гляди.

Странный тип был одет хорошо. Все честь честью. Костюм неплохой. Туфли модные. В черных очках. Не снимая с руки, он показал издали потрясающие часы.

Шофер подошел к нему и стал часы разглядывать.

— Угу,— сказал он, удивленный.— Ишь ты... Погляди. Толька! Глянь. Погляди! Неужто на кошках заработал?

— Не только на кошках,— сказал тип загадочно.

Толю часы не интересовали, и он взялся за бочку. Один. Шофер рассматривал часы и удивлялся.

Бочку он поднял, как штангу, но не выжал на вытянутых руках и на эстакаду не забросил. Он ее не удержал, и она гулко ударилась о землю. Дно вылетело, и творог вывалился из бочки.

— Так я и ожидал,— сказал ловец кошек.

Толя подскочил к нему, взял за грудки и отшвырнул подальше. Ловец кошек на ногах не удержался и упал. Встал, отряхиваясь молча, но уходить не собирался.

— У меня давно плохое настроение,— предупредил его Толя.

Слетелись голуби на творог. Клюют как ошалелые, спешат.

— Кыш! — погнал их Толя.

Они отбежали на некоторое расстояние и тут же налетели снова.

— Голуби тоже бизнес,— сказал ловец кошек.

— Ну, явно не в себе,— сказал Толя.

— Но есть их опасно,— сказал ловец кошек,— жрут разную падаль эти райские птицы и разносят заразу.

— Какой же бизнес на них можно сделать? — поинтересовался шофер.

Вышедший из себя Толя запустил в ловца кошек горстью творога, но тот отбежал только, но не ушел.

— Чего тебе надо, послушай, гад! — заорал Толя.

— Кошек у вас нет?

— Иди ты!..— Толя поставил бочку, но много творогу осталось на земле. Голуби расхаживали рядом.

— Кыш, кыш, кыш,— гнал их Толя.

— Ну, я поехал,— сказал шофер.

— Валяй, валяй,— сказал Толя.

Машина зафыркала, двинулась задом, развернулась и ушла.

— Спивайся,— сказал ловец кошек,— продолжай спиваться.— И ушел.

«Откуда он тут взялся? — думал Толя.— И где-то я его раньше видел. Но где? Не вспомнить... Где же я его все-таки видел?» Толя сел на ящик и не гнал уже настырных голубей. И они целой стаей клевали творог быстро-быстро — хорошая и обильная им досталась пища. Повезло им здорово. На редкость повезло...

Он закрыл бочку крышкой, переваливая с боку на бок, дотасил до лестницы, ведущей на эстакаду, и таким же манером постепенно приволок ее к грузовому лифту. Небольшая дощечка нашлась, по этой дощечке он вкатил бочку в лифт.

— Давай! Эй вы там, поднимай! — заорал он, нажимая на кнопку лифта беспрерывно.

Но там не слышали.

— Эй вы, бабье! Заснули? Поднимайте бочку с творогом!

Лифт пошел наверх.

И он тогда вспомнил, где видел этого типа.

«Он рыл яму, могилу для дочки, — могильщик, вот он кто! Да я тогда никого и не замечал, — вспоминал Толя, — разбит был и подавлен. До могильщиков ли мне было тогда, разглядывать их лица... Пусть могильщик, но от меня ему чего надо, не пойму. В свою компашку тянет, да не хочу я быть могильщиком и кошек ловить не собираюсь, время пройдет — и вернусь к своей машине. А он меня запомнил. Надо же! Но зачем ему все-таки я нужен, а никто другой? Играет на несчастье или он меня совсем за дурака считает? Могилы, кошки, голуби, кошмар...»

Толя вышел на эстакаду.

Дул ветерок. Кругом громоздились пустые ящики, до потолка. Он облокотился о ящики, и они обвалом полетели ему на голову. Пустяк. Пустые. Поцарапался слегка. Но не беда. Уж это не беда. Жене вроде лучше. Сесть бы опять за машину, а там пойдет по-старому, ну не совсем, но все же...

— Эй, принимай, Толя!

Подъехала машина, и Толя начал разгружать.

УВЕРЕННОСТЬ

Диву даешься, как он был в себе уверен! Если бы каждый человек был так уверен в себе! А впрочем, бог знает, что тогда было бы... Может быть, так и надо, так и должно быть — одни люди поразительно уверены в себе, другие не очень, а третьи так и проживут свой век ни в чем не уверенные, во всем сомневающиеся... Может быть, как раз в этом и есть смысл, гармония, уравновешивание, одни дополняют других, одни по другим равняются, а в свою очередь, благодаря этим, выделяются. Как раз, может быть, без такого

положения вещей, без такой ситуации творилась бы путаница, полная неразбериха. Я на миг представляю: все поголовно дьявольски уверены, гнут свою линию, давят с одинаковой силой друг на друга — неприглядная картина.

О нем все газеты писали, его уверенность границ не знала. Можете представить, что это за штука — чемпион мира по боксу, выдающаяся личность, сущий черт!

— А я в любом раунде могу нокаутировать любого противника,— сказал он мне. (Он имел в виду весь мир!)

— Ну а вдруг,— сказал я,— а вдруг...

— «Вдруг» положи себе в карман,— сказал он мне, улыбаясь своей несравненно уверенной улыбкой.

— Ну а все-таки,— сказал я,— а все-таки...

— И «все-таки» положи себе в карман,— сказал он, так же несравненно улыбаясь.

— Между прочим...— начал я.

— «Между прочим»,— сказал он,— положи себе в карман!

А я ему твердил, что придет время — его все-таки побьют, не надо зарекаться. «Такого не может произойти, скорей луна свалится на землю»,— отвечал он мне.

В гениальную личность люди верить не очень-то хотят, такие чудеса не всех устраивают. И я не мог признать поразительную уверенность моего друга детства, с которым мы сидели на одной парте, исходили пешком в юности весь наш родной край...

...Когда-нибудь он проиграет, не может быть, чтобы он никогда не проиграл! Выходит, я желал ему проигрывать? Чертовщина сущая, с этим я никогда бы на свете не согласился, мы прошли с ним пешком весь свой край, плавали по Миссисипи матросами, влюблялись в девчонок, вытворяли бог знает что! Хвалиться он любил... Все уши затыкали, когда он кричал, что

всех в мире побьет. Я тоже уши затыкал, но ведь напрасно! Побил всех подчистую, будьте здоровы, мое почтеньице, жители родного штата! С ним спорить без толку, я знаю. «Эх ты!» — скажет он и в плечо толкнет со смехом, дружески, да только тихо у него не получалось, на ногах ни за что не устоишь. Тут же слезы на глазах, извиняется, да у него и вправду нечаянно, произвольно выходило, само собой срабатывало.

Надо бы подальше от него держаться, а я не отошел. Ну, он меня в плечо — хлоп! «Эх ты!» — и я в угол комнаты отлетел как миленький. Вскочил ужасно злой, а у него слезы на глазах. Да разве на него можно обижаться, не специально ведь, с детства у него эта дурацкая привычка. На расстоянии от него стоять, на расстоянии!

Стою подальше, уверенность от него так и прет, весь — сплошная уверенность. Вот что значит уверенность, сгусток уверенности, сплошная формула уверенности, абсолютная уверенность...

...Есть вещи, в которых я очень даже сомневаюсь, — например, каким цветом покрасить цветочные ящики на балконе: желтым, или красным, или разными цветами. И так можно, и так, но я не уверен, какими именно цветами их выкрасить.

— Послушай, а во всем ли ты уверен? — спросил я его однажды.

— Во всем уверен! — заорал он поразительно уверенно.

— Какими цветами покрасить мне ящики? — спросил я его.

— Любыми, — заорал он, — крась любыми! Крась всеми цветами подряд, и ты не ошибешься!

— Но я хочу одним, — сказал я.

— Любым, — заорал он, — крась любым! Что ты пристал ко мне со своими ящиками!

Я выставил навстречу ему руку, показывая жестом: не толкай, не толкай меня, не толкай! Сейчас ведь толкнет, ну и тип!

— Я завтра лечу в Мадрид! — воскликнул он потрясающе уверенно, даже напыщенно. — Завтра я побью Фердинанда Ривьеру! За две секунды до конца последнего раунда, вот именно, за две! А все пусть думают, будто я не мог этого сделать раньше. Пусть они думают! — Он встал, подошел к зеркалу, любуясь собой, поднял обе руки кверху, как он обычно приветствует публику, и уверенно улыбнулся. Он выглядел прекрасно: этакая фигура, быстрота, стремительность, сила. И еще черт-те чего, всего в нем полно. Побьет он этого Ривьеру, безусловно! Я было уже руку опустил, но снова вытянул ее вперед, почти упираясь в него пальцами, чтобы он невзначай не толкнул. Но сейчас же представил, как он молниеносно может нырнуть под руку и толкнуть меня, если захочет, и я руку опустил.

— Уже завтра летишь? — спросил я.

— Эх ты! — сказал он.

«Последует толчок!» — решил я и отскочил, а он и не думал. Он помрачнел, он ненавидел самолеты.

У него сейчас не было желания толкнуть меня в плечо. Ему было не до этого. Он напомнил, что не выносит напоминания о самолетах, а я ему напомнил. Да я и не специально напомнил, забыл, что он их не выносит. Он не уверен, что самолет не разобьется. Он не был уверен, что благополучно прибудет на место, а там-то он побьет любого...

— Какая чепуха! — сказал я.

— «Чепуху» положи себе в карман, — сказал он.

— Ага, — сказал я, — не уверен!

— Я уверен в том, что не уверен! — сказал он потрясающе уверенно и улыбнулся.

Он был во всем уверен.

КРАСНЫЕ КАЧЕЛИ

Канитель Сидорович вставал в пять утра, шел в лес за грибами. В семь утра он клал их на стол молча и тихо. Жена его Аделаида Матвеевна вставала в семь утра, всплескивала руками при виде грибов и восклицала:

— Фу-ты, господи, опять!

Она имела в виду, что ей придется опять чистить эти грибы, жарить или варить. А это нужно было делать так или иначе.

После грибов Канитель Сидорович шел в сад и там мастерил качели для сына.

Потом шел на работу.

Дом стоял на развилке дорог, двухэтажный и нелепый. Больше в округности, близко, не было домов. В этом доме кроме семьи Канителя Сидоровича народу было много — разные семьи и одинокие. А там за дорогой начинался поселок, и странным казалось, отчего это выстроен здесь дом, словно случайно.

Канитель Сидорович по дороге на работу думал: «Люди только еще идут по делам, а я уже дело сделал: уже, можно сказать, накормил семью завтраком, грибов добыл, провизию добыл. Вот жена там сейчас грибы чистит и кидает в синюю кастрюльку». Он почти физически ощущал, как грибы стучаются о дно кастрюльки один за другим, не целые грибы, а куски грибов, срезанные ножом, такие замечательные ломтики грибов.

Канитель Сидорович шел на работу по дороге, и на душе у него было спокойно. И даже чувствовалась какая-то уверенность в себе, но и некоторое однообразие тоже чувствовалось.

Тогда мысли его перекидывались на качели, и однообразие каждодневное рассеивалось, и улыбка обозна-

чалась на его лице. Качели еще оставалось совсем немножко доделать. Они выйдут добротные, крепкие, доски попались отличные, отменные доски. Пусть себе сын качается на них с соседскими детьми, жалко, что ли! Пусть добрым словом поминают Канителя Сидоровича.

Имя такое ему в поселке дали люди. Не припомнить сейчас, кто первый его так назвал. А на самом деле звали его Павлом, да только никто его так не звал, и он на это не обижался.

Канитель Сидорович шел с работы к качелям, а соседи, глядя, как он там возится под деревьями, говорили: «Опять канителит!» Он этих слов не слышал, да если бы даже и слышал, из этого ничего бы не вышло. Слова его не обижали (хоть какие), они для него все равно что ноль значили, мало кто чего скажет.

Работал он в поселковом магазине продавцом, его каждый знал. Да и как не знать, если каждый к нему обращался за покупками. Отпускал он медленно, чем даже в раздражение некоторых приводил. Может быть, прозвище оттуда и пошло, а может, не оттуда.

Он стоял за прилавком, отпускал товар и в это время ничего не думал постороннего, а только что положено: считать, сдачу давать, на весы смотреть. Да иначе оно и быть не могло, раз работа такая, да народу тем более полным-полно, на весь поселок магазин единственный. Правда, еще директор был, он тоже иногда товары отпускал, да только директор — он директор и есть, не будет же денно-нощно стоять за прилавком. Иногда ругал он Канителя Сидоровича за его нерасторопность, бывало, скажет: «Да пошевеливайся ты, мать твою! Как в гробу ворочаешься». Насчет ворочания в гробу — это любимое директорское выражение, образно, конечно, выразительно, выпукло. Канитель Сидорович начинал смеяться тоненько и долго,

слыша такое по своему адресу, и головой мотал, показывая, что он восхищен директорскими словами. А вообще на слова он внимания не обращал, как было сказано.

Про слова директорские он жене рассказал как-то и стал смеяться, а она махнула рукой: да ну тебя, мол, не до тебя — и ушла за водой, а он долго еще смеялся, и сын подошел к нему и стал тоже смеяться долго и от души.

Выдался самый веселый вечер, веселее, пожалуй, и не было, если не считать одного вечера, когда он со смеху покатывался, узнав, что жена утром грибы на столе искала, да так и не нашла, а он в этот день ни одного гриба в лесу не нашел. Иногда хоть один гриб да найдет, а тут ни одного.

Надо сказать, Аделаида Матвеевна все в доме делала справно, по хозяйству хлопотала ревностно, только на грибы сердилась (столько, мол, грибов каждый день!), а на самом-то деле не сердилась, а только перед соседями показывала, вроде ей грибы надоели.

Канитель Сидорович с работы шел прямо к качелям, а потом уже ел.

Качели были готовы, но чего-то недоставало в них. А что, он не знал, и это так ему запало в душу, хоть помирай. Он эти качели со всех сторон рассматривал, все ходил вокруг и голову все вбок клонил: не хватало чего-то... не хватало, а чего не хватало — бог знает!

И вдруг однажды душа его озарилась непонятным доселе светом, новой радостью, — а пришла ему мысль покрасить качели в красный цвет. У него на глазах даже слезы появились от этой мысли. Представил он себе, как будут сверкать качели красным цветом среди зелени деревьев и кустов. Именно этого как раз и не хватало. Да и вправду это было бы красиво. Вста-

ла перед ним только проблема краски. В поселковом магазине такой краски не было, кое-какая там была краска, но не та вовсе, какая ему представлялась. А представлялась ему краска яркая, такая красная, красней которой и быть не может.

В ту ночь ему снились разноцветные качели — и в крапинку, и в полоску, и в яблоках, и другие. Они медленно проплывали, как лодки, и все плыли и плыли по реке, а в каждой сидело по сыну. Качели были разные, а сын был один и тот же, его сын...

В воскресенье он не пошел за грибами, наверное, впервые за много лет не пошел в самое грибное время, а поехал в город за краской. И жене не сказал зачем, а якобы за грибами.

Он привез краску в полдень, и жена удивленно смотрела на него, когда в дверях появился он с большой банкой.

Он поставил банку на пол, лицо его светилось радостью, а сын стал катать банку по полу в восторге.

И все обыденное перемешалось и спуталось, и не было грибов на столе. А жена была уверена, что это банка тушенки, и смекнула сразу, что неплохо было бы мясо с картошкой перемешать, раз грибов нет...

Солнце било сквозь деревья на качели, Канитель Сидорович красил их, и они покачивались со скрипом. Качели загорались на солнце, и было радостно. Сын стоял поодаль, наблюдая за отцом восторженно. А мать сидела тут же на траве. Испытывала она какое-то тревожное чувство: не было утром грибов на столе, и что-то изменилось, значит.

Появилось торжественное и цветное...

ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА

Телевизор не работает, вечер пропащий, настроение низкое, пью чай, смотрю в окно, мечтаю вторично жениться.

Звоню в телевизионное ателье на другой день, спрашиваю техника, интересуюсь, почему он вчера не пришел, а он мне весело отвечает, что перепутал мой адрес.

— А вы больше не перепутаете? — спрашиваю.

— Любой человек может перепутать, — говорит он весело, — вы что, никогда ничего не путали?

— На всякий случай я вам напомним адрес, — говорю.

— За кого вы меня принимаете? Если вы будете во мне сомневаться, я к вам вообще не приду.

Я испугался.

— Ладно, ладно, — говорит, — не бойтесь, приду.

— Когда?

— Когда будет время.

— Видите ли, — говорю, — у меня такое положение... Я не женат, один... меня дома не бывает...

— Не хотите ли вы, чтобы я вам невесту подыскал? — смеется.

— Видите ли, я вчера отпросился с работы... вас ждал... а вы... э... как бы вам объяснить... не пришли...

— Я приду, — говорит он весело.

— Видите ли... я сегодня тоже с работы отпросился...

— Ваша работа меня не касается, мой дорогой!

— Так это я для того сказал, чтобы вы... эээ... поняли... что я с работы отпросился.

— Что же, по-вашему, я ничего не понимаю? Не меньше вашего понимаю. Не понимал бы, так меня на

такую работу не посадили. Ясно? Эх вы, товарищ дорогой! У вас своя работа, у меня своя. Вы на своей работе — я на своей. Вы за свою работу отвечаете — я за свою...

— Совершенно справедливо... Я, видите ли, к тому клоню, что... э... как бы вам объяснить... я один в том смысле, что никого нет дома.

— Вот и женитесь, раз никого дома нет. Жена будет дома сидеть, и телевизора не надо.

Смеется.

— Я... эээ... имею в виду, когда, в какое время ждать вас?

— Вы, мил человек, или не понимаете, что такое слово «жди», или притворяетесь?

— Довольно растяжимое все-таки понятие... эээ... разве нет?

— Да что вы все «э» да «э», неужели непонятно?

— Я хотел, простите, только спросить: сегодня ждать или завтра?

— Факт, завтра! А сегодня вы еще жениться успеете!

Смеется.

На всякий случай напоминаю ему, что завтра я в третий раз с работы отпрошусь, а он в ответ продолжает смеяться.

Весь следующий день сижу дома, но он не появляется.

Иду сам в ателье, в четвертый раз отпросившись с работы.

— Где он? — спрашиваю.

— По домам ходит, — отвечают.

— Что-то у меня дома его ни разу не было.

Они смеются.

— Может, он сейчас к вам пошел, а вы к нему пришли...

Я кричу:

— У нас новый район, и обслуживание должно быть новое, на самом высоком уровне!

Просто с ужасом на них смотрю — вот-вот опять засмеются.

— Идите себе домой, он, наверное, вас сейчас возле дверей дожидается...

— А если его там нету, что тогда? Что тогда должен я с вами сделать?!

Они смеются:

— Всякое бывает, товарищ, сами знаете, всякое бывает...

— Очень странно, — говорю, — видеть вас смеющимися на рабочем месте... Я один, и мне трудно...

Они смеются:

— У некоторых по восемь человек детей, и им не трудно, а вы один, и вам трудно? Давно бы сюда притащили ваш ящик, чем портить нам настроение.

— Никакой возможности нет тащить мне этот ящик одному. Я уже объяснял вашему товарищу технику, что с некоторого времени не женат и в силу этого ежедневно отпрашиваюсь с работы...

— У вас одного почему-то все не в порядке, вон у него тоже на прошлой неделе жена в армию ушла... Покажись-ка, Алеша, товарищу заказчику...

— Что вы чушь несете!

Они смеются.

— Безобразие, и больше ничего!

— Кричите себе на здоровье! Вы нам телевизор покажите, мы его починим. А то дома сидит, а мы знать должны, что у него там творится. Вон, гляди, бабка приемник принесла. Сама небось тащила, бабуся?

— Сама, родненький, прохожий помог...

— Молодец, бабуся! Прохожий молодец! Человек человеку друг, товарищ! Верно, бабка? Гляди, старуха

дряхлая сама притащила, а ты в сто раз здоровей, а притащить не можешь, дома сидишь.

— У вас же объявление висит... реклама: черным по белому... то есть красным по белому... не в том суть... звоните, мол, звоните...

— Мало ли что там написано!

— Как это?

— Да что вы все удивляетесь, гражданин хороший? Давай, бабка, приемник, золотая бабуся, лампы небось пережгла? А вам стыдно, товарищ!

Смеются.

— Ишь ты лодырь, какой,— кричит бабка,— трудиться не хочет...

— Так ведь объявление-то висит,— говорю.

— Я неграмотная,— говорит бабка.

— Но мы-то люди грамотные,— говорю я.

— Больно все грамотные стали,— говорит бабка.

— Правильно, бабуся, так его!

Смеются.

— Ну знаете...— говорю.

— Знаем, знаем.— Смеются.— Нас не хочешь слушать, так старого человека послушай, больше тебя на свете старая прожила, не меньше тебя в жизни разбирается.

— Я бы таких заказчиков на порог не пускала! — говорит бабуся.

— Позвольте вас спросить, бабушка, с чего это вы так на меня накинулись, разве я не прав?

— Смотри, а то милиционера позову! — говорит бабуся.

— Да ну вас, бабушка,— говорю,— или вы вовсе ничего понять не хотите, или попросту ничего не понимаете...

— Ты мать не оскорбляй,— смеются ребята.

— Сынки меня в обиду не дадут,— говорит бабуся.

Они смеются.

— Вот твой спаситель как раз идет, бери его в оборот, а от нас отвяжись, бога ради, поскольку у тебя никакого телевизора с собой нету.

Вижу: входит в ателье молодой парнишка с чемоданчиком — лицо как из гранита высеченное, волосы торчком — и смеется.

Ребята кричат ему со смехом:

— Тебя тут дожидаются!

— Я к вашим услугам,— говорит он смеясь.

— Что же вы, мил человек, к моим услугам до сих пор не были? — спрашиваю я печально.

— С какой такой стати? — смеется.

— А с той стати,— говорю,— что вы обещали, приминаете?

— А-а-а! — говорит.— Очень приятно вас видеть, еще не женились? Никак не управляюсь, прошу прощения, один на весь район, а вызовов много, народ требует, очень приятно вас видеть!

— Не могли бы вы,— говорю,— сейчас пойти со мной телевизор мне починить?

Он обнял меня и смеется.

— А знаете, какой у меня день сегодня?

— Какой?

— Такой день раз в жизни бывает — человеку двадцать пять лет! Знаете, с каким человеком я в один день родился?

— С каким?

— Неужели не помните? С Ломоносовым в один день родился.

— Поздравляю,— говорю,— от души вас поздравляю!

— Молоток, что нашел меня в такой день, сам понимаешь, ни по каким вызовам не хожу.

Ну что тут возразить? Не хватает еще вступать в пререкания с человеком, родившимся вместе с Ломоносовым! Незатейливая песенка всплывает в памяти:

«...только раз в году...», у всех на виду в этот день играют на гармошке, не взирая на лица. Я его понимаю. Первые мои не выдерживают, и я плачу... Сморкаюсь в платок. Я устал. Нежность к людям, к себе самому переполняет меня и вызывает слезы.

— Слышь, брось реветь,— слышу я отзывчивый голос сегодня родившегося,— испортился, значит, телевизор, говоришь? А я думал, приемник у тебя испортился. Так бы и сказал, что телевизор, а то чуть было не те инструменты захватил... Главное, нас с Ломоносовым не забывай!

А главное — смеется!

Приходим.

Он хлопает меня по плечу, по-дружески, со смехом, с такой силой, что я падаю.

Встаю. Ставлю обед на плиту.

Он открывает чемоданчик с инструментами, но чемоданчик каким-то образом вырывается у него из рук, и все оттуда сыплется на пол, гремит, катится, закатывается, а он смеется.

— Всякое бывает,— говорит он, долго ползает по полу, а я ему помогаю.

— Да ты тут не вертись,— слышу я его веселый голос откуда-то из-под тахты,— ты не торчи перед моими глазами, я этого не люблю.

Я отхожу покорно, стою в сторонке, смотрю, как он ползает, жду.

Наконец он собирает инструменты, подходит с какой-то штуковиной к моему телевизору.

— В такой день,— говорит он,— можно себе позволить все.

Я невольно сказал:

— Только прошу вас, осторожней...

— Знаете,— сказал он весело,— после ваших слов я могу взять свои принадлежности и уйти. Я уйду, и попробуйте вы потом меня добиться...

— Обед скоро будет готов,— сказал я, бросившись наполнять рюмки.

— Я вам делаю одолжение,— сказал он, встав в какую-то дурацкую позу,— я вам любезность делаю, так?

— Так...— сказал я.

Он выпил рюмку, сел около телевизора и произнес целую речь:

— Моя любезность не знает границ! Как товарищ — я золото. Как мастер — золотой. Между прочим, я работал на заводе, где собирал, да будет вам известно, такой вот марки телевизоры, как ваш. Я могу вытащить у вас из телевизора одну штучку, а другую утопить... (Боже мой!) Я могу так переделать ваш телевизор, что ни один техник в мире не сможет понять, в чем дело! — Он весело смеялся.— Я могу ваш телевизор разобрать до мельчайших подробностей, а потом собрать в прежнее монолитное целое! И могу его так разобрать, что ни одна душа не сможет его собрать. Но могу и устранить дефект, починить, отремонтировать, и он будет работать, как новый! Выбирайте любое. А вы знаете, я могу сделать так...

— Ради бога...— сказал я.

Он выпил еще рюмку, снял крышку с телевизора и ткнул в какую-то деталь какой-то своей деталью.

И в этот момент раздался взрыв. Клубы дыма поднялись кверху, и мы закашляли, и что-то покатилося по полу, повертелось и выкатилось к моим ногам.

— Что-то взорвалось,— сказал я робко.

И в ответ я услышал его веселый голос:

— Не беспокойтесь, весь он не взорвется.

— А что там взорвалось? — спросил я.

— Видите ли,— сказал он,— это пока неизвестно.

— И вам неизвестно?!

— Мне известно, но не совсем.

— А кому известно? — спросил я испуганно.

Я открыл форточку. Пахло ужасно.

Он вышел ко мне из дыма. Положил мне руку на плечо. Чихнул, икнул, зевнул и кашлянул. После чего сказал весело и уверенно:

— Привозите его к нам. Мы уточним причину взрыва.

— Один вопрос, — спросил я. — Почему вы все беспрерывно смеетесь?

Он взглянул на меня, засмеялся и сказал:

— Молодые ребята, вот и смеются.

— Веселые ребята, — сказал я.

— Во-во, — сказал он, — точно!

КОГДА СПОТКНЕТСЯ ДЕД-МОРОЗ

(Новогодняя сказка)

Шел снег, а в снегу шли деды-морозы.

Они шли не спеша, оживленно беседуя. Заполнив все улицы, шли деды-морозы, и не было им конца и краю.

Снег кружился и блестел; если внимательно присмотреться, то можно увидеть мохнатые брови, длинные бороды. Только лиц совсем не видно, сколько ни присматривайся. Это только деды-морозы могут так ходить, чтобы их лиц не было видно.

Но если внимательно прислушаться, то можно услышать приглушенный говор, кашель, смех и как они шмыгают простуженными носами.

Каждый из дедов-морозов нес под мышкой подарок. Но этого уж, конечно, не было видно, хотя каждый раз в Новый год все деды-морозы проходят по улицам всех городов с подарками.

Иногда, когда снег не идет, дедов-морозов вообще не видно. Но это бывает редко. Потому что в новогоднюю ночь снег почти всегда идет.

Каждый раз в Новый год поздно ночью в дом к мальчикам и девочкам заходит дед-мороз, с которым они познакомились во сне. Ведь не может быть, чтобы ты никогда не встречался во сне с дедом-морозом! Любый мальчик, любая девочка встречаются во сне со своим дедом-морозом — одни раньше, другие позже, но обязательно встречаются. А если дети находят подарок возле своей кровати, но уверяют, что они никогда не встречались во сне с дедом-морозом, то они просто этого не помнят. Непременно встречались. Раз утром нашли подарок у своей кровати. Откуда же он мог тогда взяться, сами посудите!

Так вот, во время одного такого новогоднего шествия один дед-мороз споткнулся, выронил подарок, и очень хорошая детская игрушка, которую он нес в подарок, сломалась об лед, а конфеты и печенье рассыпались по снегу.

Ему некогда было идти за новым подарком: утро Нового года подходило, и он все равно бы не успел. И этому деду-морозу пришлось только потерять ушибленное колено и отправиться обратно к себе домой.

Он побрел обратно печальный и расстроенный, потому что никак не мог выйти из своего положения.

Все деда-морозы шли в одну сторону с подарками, а он шел в другую пустой. Это было, безусловно, печальное зрелище. Хотя этого никто не видел.

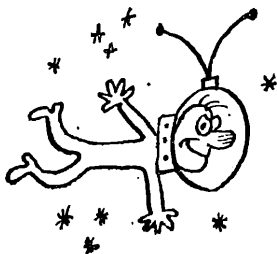
У него даже слезы капали из глаз; ему было очень тяжело, что он не может принести подарок своему маленькому приятелю, с которым он познакомился во сне. Это был неудачливый дед-мороз, как бывают и неудачливые люди. Но и неудачливые люди не все же время бывают неудачливыми. И деда-морозы то же

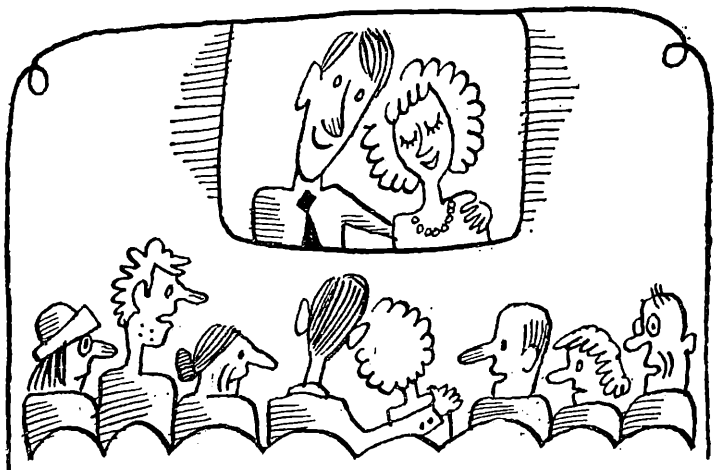
самое. Если он в этом году споткнулся, то не споткнется же он опять в следующем году! И он твердо решил, что на следующий год он принесет своему малышу не одну, а две игрушки, конфет и печенья в два раза больше.

Так что тот мальчик или девочка, которые, проснувшись, не нашли своего подарка, получают его непременно в следующем году. И притом в двойном размере.

Я никак не думаю, что этот дед-мороз еще раз споткнется, да так неудачно. Если уж споткнется, то какой-нибудь другой дед-мороз. А может, никто не споткнется.

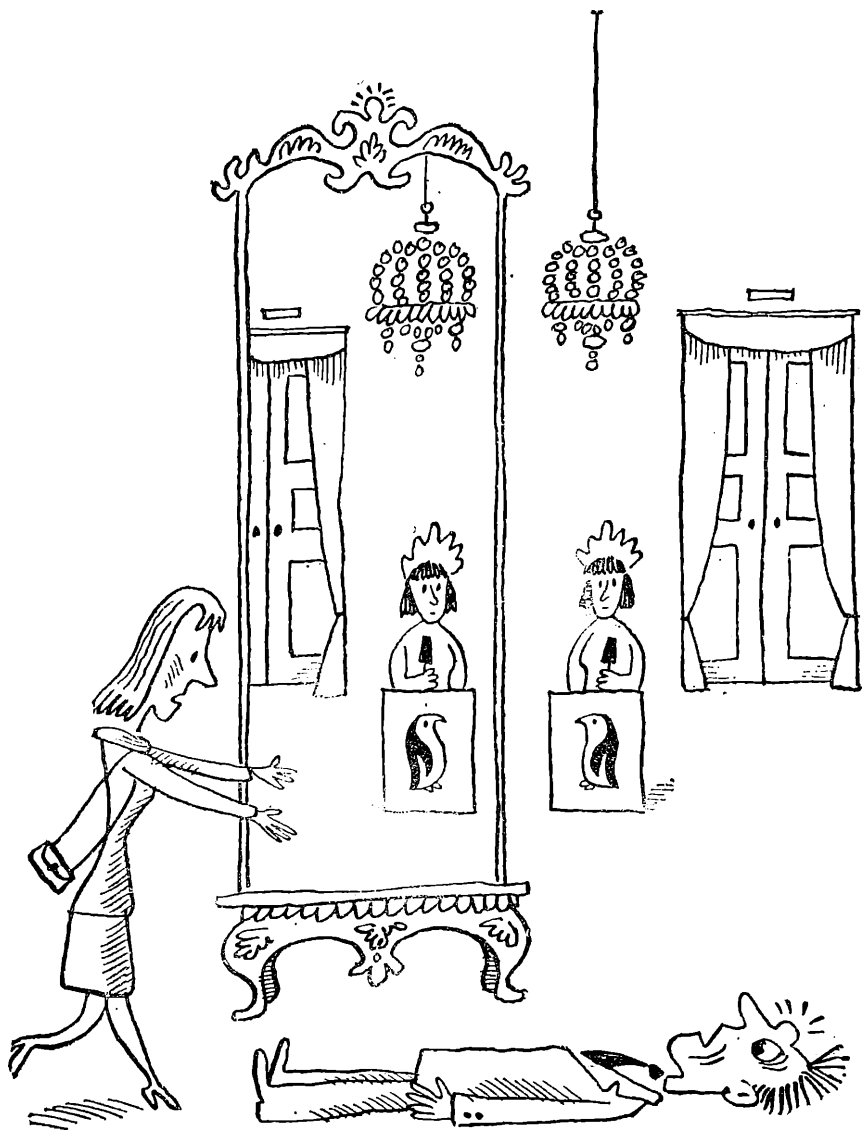
Тогда всем будут подарки.





ЛЮБОВЬ и ЗЕРКАЛО





ЛЮБОВЬ И ЗЕРКАЛО

Фойе театра. Зеркала.

Они сидят в кресле вдали от всех.

Он говорит:

— Люблю.

— Ах,— говорит она.

Он говорит:

— Я куплю эскимо.

И бежит во всю прыть в конце фойе, где стоит лоток.

Вдруг что-то обрушилось на него. Или он на что-то обрушился. Что в итоге не важно.

Он моментально падает на пол.

Он видит лоток впереди. Видит люстры. И пять дверей в зал.

Он смотрит в обратную сторону. И видит лоток. Видит люстры. И пять дверей в зал.

Бежит к нему Тася.

Она поднимает его и ставит на ноги.

Он озадачен. Вертит головой во все стороны. Видит всюду лоток, видит люстры и пять дверей в зал...

ВСЕ РАВНО

Звоню ей по телефону, предлагаю в кино сходить. Она мне отвечает, что ей все равно, можно и в кино сходить.

Я говорю:

— Нет, нет, тогда мы не пойдем в кино, если тебе не хочется.

Я говорю:

— Сходим в цирк, если тебе хочется.

Она мне отвечает, что в цирк ей хочется и не хочется, а в общей сложности все равно.

Я спрашиваю, брать билеты или не брать, а она мне отвечает, что ей абсолютно все равно.

Я ей предлагаю оперетту, а она мне отвечает: **ВСЕ РАВНО.**

— В парк?

— Все равно.

— В клуб?

— Все равно.

— На концерт?

— Все равно.

— На тот свет?

— Все равно.

Я перечисляю ей разные развлечения, мероприятия, вплоть до прыжков с парашютной вышки и «чертова колеса», предлагаю танцы, бассейн и планетарий, зоопарк и собачью выставку, стадион и выставку картин, съездить за город на электричке, выдвигаю, наконец, версию отправить своих родителей за город на электричке, а ее пригласить к себе. Но на все она мне отвечает: **ВСЕ РАВНО.**

Тогда я, возмущенный, окончательно вышедший из себя, совершенно категорично заявляю, что если ей все равно, встречаться со мной или не встречаться, то лучше не встречаться.

Тогда она мне отвечает, что ей решительно все равно, куда идти и ехать, лишь бы со мной...

И ведь мне все равно.

Лишь бы с ней...

КНИГА ОТЗЫВОВ

В этот день я был так занят, что целый день не ел. Я даже забыл, что мне нужно поесть. Только к вечеру я забежал в столовую пообедать. Я съел подряд два супа, не замечая вкуса, и два вторых. И тут мне подсунули эту книгу.

— Что это? — спросил я, не поняв, в чем дело.

— Это книга, — сказали люди. — Будьте добры, напишите.

Я оглядел их. Это были работники столовой.

— Что написать? — не понял я.

Работники столовой улыбались. Они улыбались, как ангелы и как подхалимы. А один улыбался, как кашалот.

— Напишите отзыв, — просили они. — Мы очень вас просим.

Я немножечко удивился и спросил:

— Почему же именно я должен его написать? Или вы каждому так говорите?

— О! — воскликнули четверо хором. — Вы с таким аппетитом ели наш суп... Только вы можете написать!

— Гм!.. — удивился я еще больше. — Вы так думаете?..

— Не только мы, — обрадовались они. — Все так думают. Все смотрели на вас, как вы ели суп.

— Почему?! — удивился я еще больше.

— Потому что вы ели суп с аппетитом. У нас редко кто так ест. За последние пять лет никто не ел с таким аппетитом.

— Гм!.. — удивлялся я все больше. — Как странно.

Но они не дали мне размышлять. Открыв книгу, они сказали:

— Факт зафиксирован нами. Ели вы с аппетитом. Отпираться тут бесполезно. Вся столовая видела это.

Свидетелей сколько угодно. Так что напишите факт и распишитесь.

Работники обступили меня. К ним подошло подкрепление. Теперь их уже было много. Их стало около десяти. Они окружили меня кольцом и уже не просили, а требовали.

За их спинами были зрители. Лица зрителей говорили о том, что они могут всегда подтвердить, что я ел с аппетитом. Они пялили на меня глаза. В них сквозили удивление и восторг. Они восторгались моим аппетитом и удивлялись вкусу.

Поглядев вокруг, прижатый, изобличенный, я вынужден был написать: «Я с аппетитом ел суп и котлеты».

Книгу буквально схватили и унесли, как великую ценность. Повар вышел взглянуть на меня. Он прищурился и сказал:

— Еще вздумал ломаться, писать не хотел, сукин сын!

КАК ЕГО ФАМИЛИЯ

Я учился в Академии художеств с этим вместе, как его... ну, все его знают... фамилию забыл... Он всегда вот так, сбоку, со своим мольбертом стоял, поодаль, волосы у него курчавые были, это сейчас он лысым стал, как его... фу-ты, ну этот, ну как его... Раньше всех, бывало, нарисует, подмалевок сделает, а мы еще только начинаем. Все курсы — похвалы совета, поощрения, поклонения. Так вот я с ним вместе учился, да его теперь каждая собака знает. В культурном мире этот как его... эх, как его... запомятовал... забыл его фамилию... Вместе, помню, поступали, я первым поступал, а он вторым. За мной шел. Фу-ты, черт, как его фамилия, совершенно забыл! Да все его знают, си-

ний цвет в его живописи преобладает наряду с зеленым. Рисовал он здорово, а живопись у него шла слабей. Но все равно пятерки ему ставили за то, что живопись на рисунке держится. Каркас, мол, есть основа и скелет. Он, как диплом защитил, сразу в гору пошел. Остановить его никто не мог. Еле ходит сейчас, толстый стал, лысый, кошмар! Я имею в виду — шишка на ровном месте, да и черт с ним! Как его фамилия-то... вот память, а? Выставка его была: сплошное синее в глаза бьет в сочетании с зеленым. Синька, я имею в виду, в сочетании с черт знает чем! Вместе поступали, только потом меня выгнали. Вместе кефир, помню, пили, а как фамилия — забыл. Да его все знают, а я забыл. Вместе пирожков, помню, накупим и сидим едим. Сахарный песок в воде разболтаем и запиваем. А сейчас он ишь ты! Как его фамилия, вот вспомнить не могу!.. Потом вспомню. Вот так и бывает: со знаменитым человеком, можно сказать, рядом стоял, мольберты соприкасались, в одну столовую ходили, мало того, в одной комнате жили, он однажды луковицу у меня из тумбочки стянул, а я у него — сыр. Тоже мне — великий! А сейчас ходит как барон, тьфу, никак не могу его фамилию вспомнить. Рисовал он хорошо, неплохо рисовал, это верно, это, положила руку на сердце, можно во всеуслышание заявить, не кривя душой, а живопись вот — синья! Меня когда выгнали, я в Союз художников не стал поступать, очень надо, чтобы меня кто-то там принимал! Экспериментальных работ у меня на чердаке навалом. Буду экспериментальной живописью заниматься, а признание придет. А этот... как его... не могу его фамилию вспомнить... Я его синие работы видел — дрянь, только на рисунке и держится. Мне жена говорит: занимайся чистым искусством, чистым творчеством — прославишься, вставим на кухне стекло, а то дует невозможно. А этот, как его... фамилию забыл... чего из се-

бя строит, непонятно! Я днем сам себе предоставлен, а вечерами рабочим сцены работаю, поближе к опере, к артистам, к вокалу, к хореографии. Экспериментальных работ у меня на чердаке навалом. Буду экспериментальной живописью заниматься, а слава меня сама найдет. А этот, как его... как он там... этот-то... тоже мне! А сценическая моя работа отличная. Сидишь себе, встал, декорацию взял, отнес или пронес — вот и вся работа. Носи себе взад-вперед, а то вовсе не носи, сиди да смотри, как другие носят. Или где-нибудь прикорнешь за лесочком намалеванным и храпишь, как на природе. Встанешь весь в пыли и целый час чихаешь. Словно тройка лихая тебя пылью обдала. Так и пронеслась с колокольчиками во весь дух. Живешь, короче, среди лесов, дорог, дворцов, садов, чистого ясного неба и колосющегося поля... Все это есть. Для художника фантазии непечатый край — и поразмыслить можно, и пофантазировать. Я бы эти декорации ногой левой, как говорится, написал бы, да лучше я не буду их писать. Я буду их таскать. А этот, как его... фамилию я его все-таки вспомню... хмырь, и все! Ну что его выставка, ну что? Разве это выставка? Какая же это выставка? Нет... это все не выставка. Все синька. Все мазня. Ну кто он такой? Ну кто? Фамилию его даже вспоминать не хочу! Пузырь надутый на ровном месте! Как его фамилия... вот черт... Специально не буду вспоминать его фамилию! Нарочно не буду вспоминать! Знаю, а не буду вспоминать. Помню, а не вспомню. Не хочу. Его фамилия и моя фамилия. Две одинаковые фамилии. Мы с ним однофамильцы. Бывало, нас путали. А теперь? Да я рядом с ним стоять не хочу, не то что ходить или сидеть!

ПОТЯНИ КОРОВУ ЗА ХВОСТ

Прочел я о конкурсе в юмористическом журнале и несказанно обрадовался. Мне как раз не хватало денег на одну вещицу. Я, правда, не собирался писать рассказ, или басню, или же фельетон, потому что считал все это сложным. Меня вдохновляло другое.

В самом конце условий я прочел нечто такое, что показалось мне весьма легким, даже чепухой,— придумать веселую подпись к рисунку. И за это пустяковое дело предлагалось сто рублей. Я, правда, учитывал, что многие пришлют свои подписи и многие будут претендовать на эту сумму. Но я даже представить не мог, как это не придумать подпись. И веселее других. Нужно только подумать. И поспрашивать других.

Может, кто так придумает, что и сам не придумает.

Тем более я человек до крайности веселый. Всю жизнь пробавляюсь шутками. В бытность учебы за мои остроты меня часто из класса выгоняли, а один раз даже из школы выгнали.

Вырезал рисунок из журнала, гляжу на него во все глаза и чувствую: он расплывается и превращается в туман. Слишком долго глядел. Отдохну, думаю, и снова буду глядеть на него во все глаза. До тех пор, пока мысль не прискачет.

Пустяшненький рисунок: корова стоит на льдине, а мальчик с берега ее за хвост тянет. Какая может быть тут подпись? Два-три слова, ну от силы — пять.

Но что писать?

И вдруг одна за другой полезли в голову подписи: «Не тяни корову за хвост», «Не тяни ее за хвост», «Зачем тянуть корову за хвост?», «Никого не тяни за хвост», «Корова тебе не кошка», «Не тяни за хвост ни кошку, ни корову», «Хвост не для того, чтобы за него тянуть», «Корова — друг человека, а ты ее за

хвост тянешь», «Сам себя потяни за хвост», «Не корову нужно тянуть за хвост, а себя за уши!», «Оставь коровий хвост!», «Брось хвост коровы!».

Все подписи мне нравились. Но я не мог решить, какая подпись лучше и чем одна лучше другой.

— Скажите пожалуйста, — спросил я соседа, — как лучше: «Не тяни корову за хвост» или «Зачем тянуть корову за хвост?»

— Гм... затрудняюсь вам ответить, — сказал он, — смотря по какому случаю...

Не стану же я ему объяснять, чтобы он вместо меня премию получил.

— Какое предложение вам кажется смешнее, — спрашиваю, — первое или второе?

— Откровенно говоря, ничего смешного я в ваших предложениях не вижу.

— Вы серьезно?

— Вы же видите — я не смеюсь.

Он действительно не смеялся.

— А как сделать смешно?

Он не понял. Я стал объяснять:

— Представьте себе рисунок: мальчишка тянет корову за хвост. Корова на льдине, а мальчик на земле. Какую смешную подпись написали бы вы под таким рисунком?

— А зачем вам это?

— Нужно.

— А вы сами когда-нибудь тянули корову за хвост?

— При чем здесь я?

— У вас никогда ничего не получится, пока вы сами не потянете корову за хвост.

— А зачем мне тянуть?

— Чтобы вы поняли, что это такое.

— А вы тянули?

— Мне не нужно.

Если бы он знал, в чем дело, не говорил бы, что ему не нужно!

Поступаю проще: посылаю все подписи. Пусть там жюри разберется.

В письме сообщаю, что могу еще прислать в таком духе, если этого недостаточно.

Получаю ответ: присылайте, если у вас хватает духа.

Шлю еще.

Жду денег.

Но не получаю ни шиша.

Неужели недостаточно?

Неужели и в самом деле для этого нужно потянуть корову за хвост?

ПРИВЕТ ВАМ, ПТИЦЫ!

Я смотрел телевизор в клубе. Показывали кинокартину. Люди все подходили. И прямо-таки изводили меня. Потому что я сидел с краю, и все обращались ко мне. Все спрашивали название картины. А название было такое: «Привет вам, птицы!» Там шла речь о скворечнях, весне и грачах.

Первым спросил меня мальчик. Он очень мило спросил, деликатно:

— Дяденька, это какое кино?

Я сказал:

— Это «Привет вам, птицы!».

Он не расслышал. Я повторил. Он не стал больше спрашивать и где-то сел. И сейчас же мне кто-то шепнул тихо в ухо, задав тот же самый вопрос.

— «Привет вам, птицы!» — ответил я.

— Кому привет? — спросил он.

— Птицам привет, — сказал я, — птицам.

— Как то есть? — спросил он мягко.

Я попросил его отойти. Он как будто обиделся, но отошел. Вдруг ко мне обратилась женщина. Она интересовалась тем же. Грубить женщине неприлично. Я взял себя в руки. Вобрав воздух в легкие, я сказал:

— «Привет вам, птицы!»

— Я не шучу,— сказала она.

— Я тоже,— ответил я.

— Вы шутите,— рассердилась она.

— Нет,— сказал я.

— Как это глупо! — сказала она.

— Отвяжитесь! — рявкнул я.

— Хам,— сказала она и ушла в сторону.

Но не успела она отойти, как ко мне привязались двое. Эти двое здоровых парней желали узнать от меня непременно название кинокартины.

Я не сказал им: «Привет вам, птицы!» Это могло для меня плохо кончиться.

Я встал с места и вышел вон. У двери столкнулся со мной старик. Он спросил:

— Вы оттуда? Там какое идет кино?

Я НАЛЕТЕЛ НА СТОЛБ

Я иду с мамой и папой по тротуару. Я иду и смотрю туда, и сюда, и вверх. В небе летит самолет. Вдруг я падаю на тротуар. Я налетел лбом на столб. Я плачу и не хочу вставать. Папа берет меня на руки. Он гладит меня и говорит:

— Как это ты упал?

Я говорю:

— Я смотрел на самолет и не видел столб.

Отец говорит маме:

— Ты плохо следишь за ребенком. Мать рядом — не видит, что сын прет на столб.

Мать говорит отцу:

— А ты для чего, отец? Разве это не твой сын?

Отец говорит:

— Это, конечно, мой сын, но ты — мать!

Мать ему отвечает:

— А ты — отец.

Отец строго ей заявляет:

— У тебя это не первый раз. Помнишь, как он съел кошкин творог? Ты тогда была дома.

На это мать говорит:

— А ты помнишь, пошел с ним гулять и надел ему майку вместо штанов?

Отец говорит:

— Не майку, а джемпер, и это не так уж страшно. Это не сделало сыну вреда.

Мать ему возражает:

— Не джемпер, а майку.

Отец говорит:

— Я помню, что джемпер, — и ставит меня на ноги.

— Ты вспомни-ка, — говорит ему мать.

Я трогаю лоб. У меня на лбу шишка. Я смотрю на мостовую. Там что-то блестит на асфальте. Я преспокойно иду под машину.

Шофер резко затормозил. Он кричит во все горло:

— Чей ребенок?!

Папа и мама бегут ко мне. Мы опять идем по тротуару. Папа и мама ведут меня за руки. Мать говорит отцу:

— Славка чуть не попал под машину, и это все ты виноват.

ОН ГОВОРИТ — Я ГОВОРЮ

Я написал один рассказ. Там были такие слова: «Пер-вер-дер, обманули Дария». И больше о Дарии ни слова.

Но вот однажды приходит ко мне человек по фамилии Дарий. Он является и говорит возмущенно:

— Вы вписали меня в рассказ. Я слышал — он об идиотах? Моя фамилия там фигурирует. Надо мной все смеются. Все говорят мне: пер-вер-дер.

Я говорю:

— Вы тут совсем ни при чем. Ведь был такой царь Дарий. Вот я про него и писал.

Он говорит:

— Почему вы тогда не вписали себя? Например, пер-вер-дер — вы. Или какое-нибудь другое имя или фамилию. Я прошу изменить.

Я говорю:

— Я бы сделал это, но так лучше звучит.

Он говорит:

— А мне какое до этого дело?

Я говорю:

— Не находите ли вы, что это глупо и ваше требование дурацкое?

Он говорит:

— Нахожу, что глупо, но все равно измените.

Я ему говорю:

— Раз вы находите это глупым, не говорите мне этого.

Он со слезами на глазах говорит:

— Все равно, хоть это и глупо, но все равно вы меня оскорбили.

Я говорю ему:

— Я прошу вас не лезть в мои рассказы и в мое личное творчество.

Он говорит:

— Это вы втянули меня в рассказ, а я сам никогда бы не влез в него и не подумал бы этого сделать.

Я ему говорю:

— Надоедливый вы человек!

А он все говорит мне и говорит!

ТЫ ВСЕ ПОНИМАЕШЬ

Я ему говорю:

— Я тебя приглашаю в гости с супругой, как ты сам понимаешь, насколько мне все это громоздко и тяжело... Сколько хлопот, обузы у моей жены, она ведь с ног собьется, не повернуться будет, она не сможет сесть, она будет вертеться как юла вокруг гостей, да ты все понимаешь... Жарить, парить, варить на такую ораву, того гляди, ошпаришься или надорвешься, ты ведь знаешь: с гостями возиться — хуже нет занятия на свете! Однако я тебя приглашаю. А потом за всеми убирать посуду, мыть — хуже занятия не бывает! Она уже похудела, ты меня пойми, да ты все понимаешь! А впереди еще день, она уже вся высохла, на ней кожа да кости, взгляни на нее! Да ты все понимаешь, не дурак же ты, в конце концов! Из-за гостей она на себя не похожа. Но мы с ней держимся, мы крепкие, мы и тебя вынесем, и Кунгурцева с его шуточками, и Крючкова с его шуточками, и Александровича с его шуточками, всех вас... Помнишь, как вы мне в Гурзуфе ежа под подушку подсунули? Ты знаешь, что за это делают? А я тебя в гости приглашаю вместе с твоими дружками! Угощать вас всех буду. Ведь глупость с моей стороны, но я такой! А вы какие? Я вам уже сказал, кто вы. Да ты все понимаешь! Ты на меня не обижайся, ты все понимаешь, и жена твоя все понимает, все соображает. Приходите, приходите, не стесняйтесь. Стараешься, стараешься для вас, а вы не понимаете... Да ты все понимаешь... Пропадите вы все пропадом, никогда бы никого не приглашал, да разве вас не пригласишь, тебя к примеру? Да ты всю жизнь будешь вспоминать, как индюк надуешься, знаю я тебя, не махай руками! Ишь размахался, да ты у своей жены спроси, она твой характер лучше знает. Да ты мне потом проходу не дашь, да ты не махай,

не махай руками! Скажи, Вера, неправду я говорю? Ишь как жену запугал, слова вымолвить не может. Да ты не обижайся, ты все ведь понимаешь. Забил жену до такой степени, да тебя не только в гости, на порог, на пушечный выстрел нельзя пускать. Да ты все понимаешь... Если бы ты все не понимал, я бы тебя не приглашал! Не отмахивайся, сам прекрасно знаешь, все отлично понимаешь! Приходи, но смотри: потом не говори, что я тебя не приглашал! Ты ему, Верочка, капоминай изредка, и пусть он не машет руками, а то я так махну, что он костей своих не соберет. Для вас же стараюсь, к вам же обращаюсь, из-за вас же маюсь. Всех вас приглашаю, но последний раз. Подойди-ка ты сюда, подойди-ка... боишься подойти?.. Эх ты! Да ты все понимаешь. Приходи!

А он мне отвечает:

— Знаешь что, дорогой, я все прекрасно понимаю, а ты-то сам понимаешь хоть что-нибудь? В гости я к тебе, конечно, не приду, а вот ежа, при случае, еще раз обязательно подложу!

МАЛЬЧИКА ПОЙМАЛИ

Он украл на пляже дарственную ручку, зажигалку с дарственной надписью, нейлоновые японские носки и портсигар из вывернутой оленьей кожи с дарственной надписью. Он украл ключи и платок с инициалами.

И вот он сидит на песке, девятилетний мальчик, попавший в дурную компанию. Вокруг толпа.

— Как ты дошел до жизни такой? — спрашивают его.

Он плачет.

— Тебе не стыдно? — спрашивают его.

А он плачет, бедняга, попавший в дурную компанию.

— Разве так можно? — спрашивают его.

А мальчик так расплакался, что хоть отдавай ему обратно украденные вещи и пусть он идет домой.

— Отпустите его, — говорит один.

И мальчик плачет тише.

— Я в его годы не такие дела обделывал, — говорит другой.

И мальчик уже не плачет.

— Все равно его не посадят, — говорит один.

И мальчик улыбается.

— Может, он случайно, — говорит один. А у мальчика такой вид, будто у него самого украли, сейчас он погрозит всем пальцем — так у него поднялось настроение.

— А может, он вовсе ничего не крал? — говорит один.

И мальчик встает, чтоб его пропустили.

— Я его ведь за руку поймал, товарищи, а он другой рукой ключи в море бросил.

Мальчик плачет.

— Нужно было его сразу за обе руки схватить!

Мальчик громче плачет.

— Надеть бы на него костюм водолазный, пусть ищет ключи, чтоб знал!

Мальчик жутко плачет.

— Я трусы выжимал, а он в это время у меня ключи вытащил, пусть водолазный костюм теперь надевает, а что...

Мальчик плачет. Он так орет, что все плачут.

— Не бойся, мальчик, никто не собирается на тебя водолазный костюм надевать, дяди шутят.

И мальчик не плачет.

— Кто тебя, милый ты мой, хороший, в море за ключами пошлет, успокойся, сынок, симпатичный такой парнишка...

И мальчик улыбается.

— Да вытри ты слезки, ишь как разревелся, дурачок, мама с папой небось за тебя сейчас волнуются, ждут не дождутся, а ты тут сидишь себе нервы треплешь, умное какое у него лицо, заметьте.

И мальчик вовсю улыбается.

— На ребенка накинудись как сумасшедшие из-за ключей! Да этим ключам паршивым, вместе с вашей ручкой дурацкой, простите, грош цена по сравнению с нервной системой человека! Да я готов вам заплатить сейчас же эту ничтожную сумму, чтобы вы оставили ребенка в покое!

Тогда мальчик смеется и даже хлопает в ладоши. И все вокруг смеются и хлопают в ладоши.

— Вам смешно, а мне в дом не войти,— говорит пострадавший.

— Ему в дом не войти, а вы смеетесь!

— Как же можно смеяться, товарищи, если человеку в дом не войти! Да тут плакать надо!

Тогда мальчик перестает смеяться и начинает плакать.

— Держите его, товарищи! А то он может сбежать! Мальчика держат, а он с плачем вырывается.

И, глядя на все это, я тоже заплакал.

ПАРФЕНТЬЕВ

Один-одинешенек коротаю новогодний вечер. Жена в гости ушла, я малость приболел.

Звонят по телефону.

— Алло!

— Говорит Парфентьев! — слышу радостный голос.

— Вам кого?

— Парфентьев говорит!

С такой радостью мне сообщает, будто я всю жизнь

только о Парфентьеве и думал. Подумаешь, Парфентьев, велика важность!

— Говорит Парфентьев, вы меня слышите?

— Я слышу.

— Нет, вы послушайте, послушайте, голос мой послушайте... Ну? Как?

Он пропел «Будьте здоровы, живите богато».

— Ну,— сказал я.

— Ничего?

— А что?

Он пропел «Капитан, капитан, улыбнитесь!».

— А сейчас?

— Ничего.

— Ну вот видите! — Он ужасно обрадовался.

— Вам, значит, никого не надо? — спросил я.—

Ровным счетом никого?

— Я же вам сказал: говорит Парфентьев!

— А дальше что?

— А дальше песня.

— И все?

— Все.

— Мало.

— Вам все мало, дорогой, вы, наверное, из тех людей, которые едят до отвала, до тех пор, пока уже дышать не могут. А ведь с вами Парфентьев говорит. Единственный в своем роде. Парфентьев моя фамилия. Пар — первый слог.

— А второй?

— Фен.

— Третий?

— Тьев.

Тут меня осенило.

— Послушайте, вы к моей жене никакого отношения не имеете? Может, она с вами рядом стоит?

— Помилуй господи,— говорит,— я к своей-то жене никакого отношения не имею, не то что к вашей.

Ни ваша, ни моя жена со мной рядом не стоят.

— Спасибо,— говорю,— за приятную новость, сами понимаете, к своей жене вы можете не иметь отношения, а к моей наоборот.

— А моя жена,— говорит,— случайно там с вами не сидит?

— А как ваша фамилия? — спрашиваю.

— Парфентьев,— заорал он необыкновенно радостно. — Единственный в своем роде! Пар — первый слог!

— Так,— сказал я.— Первая буква какая?

— Пе! — сказал он.— По. Повар!

— Печенка! — заорал я.— Пумперникель!

— Пумперникель — это что? — спросил он.

— Эстонская еда,— сказал я.— Прелесть!

— А я Парфентьев! — сказал он.

— А вторая буква какая? — спросил я.

— Артиллерия! — сказал он.— Амбразура. Аврал.

Арро.

— Арро?

— Ну, это не важно,— сказал он,— мой шеф Арро, вы его не знаете, ну его к лешему!

— Я забыл, на какой букве мы остановились,— сказал я.

— А вы думаете, я только об этом и думаю? — сказал он.

— А как ваша фамилия? — спросил я.

— На третьей букве остановились,— сказал он сразу,— вспомнил.

— Третья буква какая? — спросил я.

— Р-развернись плечо...— сказал он.

— Радуга! — сказал я.— Румба!

— Тумба, тумба, тумба. Мадрид и Лиссабон!..— запел он. Потом поинтересовался, не утомился ли я.

— Нисколько,— сказал я.— Вы как раз попали на человека, которого не сразу утомишь. Тем более мне совершенно делать нечего.

— Это так приятно. Такое совпадение! Мне тоже совершенно нечего делать!

— Давайте, давайте четвертую букву, нисколько я не устал, и насчет еды вы верно подметили — ем я крепко. На полную мощность. За обе щеки. Когда ем огурцы, хруст стоит на весь дом. Когда хлебаю борщ, слышно во дворе.

— И кушайте себе на здоровье,— говорит,— только соседей не тревожьте.

— Они тоже едят вовсю, друг друга заглушаем.

— Прекрасные соседи вам попались.

— Отличные соседи.

— А как они выглядят?

— Очень уж на меня похожи.

— Как это вы ухитрились?

— Как они ухитрились, вы хотите сказать?

— И вы и они.

— Чего ухитрились?

— Да я и сам не знаю, о чем вы толкуете.

— По-моему, ни о чем.

— Споем?

— Споем.

Мы спели «Кавы-кавы-кавылечек».

Я поинтересовался, не устал ли он. Так он даже обиделся.

— Я,— говорит, не меньше вашего съедаю — две курицы зараз, так что будьте добры, осторожно. Парфентьев моя фамилия.

— А поросенка,— спрашиваю,— можете целого зараз съесть?

— Смотря какого.

— Большого.

— Вдвоем с вами, пожалуй, съедим любого.

— А пива,— спрашиваю,— можете зараз бочонок выпить?

— Могу, — говорит, — ерунда...

— И я могу. А можете ли вы...

— Могу! Могу! — орет. Не дал договорить. — Парфентьев, — говорит, — моя фамилия.

— Того, о чем я хотел спросить, вы не можете, — говорю.

Он запел песню на стихи «Все мы можем и не можем».

Я подпевал.

Потом спросил:

— Кому же вы все-таки звонили, интересно знать. Любопытно, кому вы звонили?

— А никому. Парфентьев моя фамилия, запомнили? Пар-фен-тьев! Новый год встречаю. Парфентьев встречает Новый год! Ясно?

Он запел «Море, море, золотая волна».

Я подпевал. Отлично получалось. Дуэт по телефону. Красота!

Мы спели еще: «А нам до них и дела нет», «Любовь моя далекая», «Провожали гармониста», «Эх вы, эх вы!», «Давным-давно», «Привет вам всем, привет, ребята!», «Привет вам, птицы!».

Поздравили друг друга с Новым годом.

Он сказал:

— А фамилию мою вы уж, пожалуйста, запомните, потому что она у меня другая.

И очень деликатно трубку повесил.

НУЖНО БЫЛО ЧИТАТЬ...

Сначала все хорошо было.

Она увидела, что я на нее смотрю, и говорит:

— Что это вы все время на меня смотрите?

— А что, смотреть нельзя? — говорю. И продолжаю смотреть. Тем более что мне давно жениться пора.

— Можно,— говорит,— только вы так глаза раскрываете, как будто вы слепой.

— Кто, я слепой?

— Вы, а кто же!

Я немного обиделся, но все равно смотреть продолжаю. Тем более у меня намерения серьезные.

Все хорошо было.

А потом я сказал:

— Вот когда я смотрю на вас, мне кажется, Пушкин именно о вас сочинил свои некоторые стихи...

Она возьми да скажи:

— А какие стихи вы имеете в виду?

А я никакие стихи в виду не имел. Я просто так сказал. Должен же я был ей что-то приятное сказать...

Она ждет, что я ей отвечу, а я молчу.

Тогда она говорит:

— «...Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...» Это вы имели в виду?

— Во-во! — говорю.— Это самое...— Хотя ничего этого я в виду не имел. Пушкина я, конечно, знал. Как не знать! В школе еще проходили. Да все забыл. Давно было. Все не вспомнишь.

Она говорит:

— Ах, бросьте, ничего вы этого в виду не имели...

Я говорю:

— Почему не имел? Имел! — И руку на сердце положил, чтобы она лучше поверила.

Она говорит:

— Да знаю я вас всех, всегда врете...

— Ну как хотите,— говорю,— только вы меня этими словами глубоко обижаете... Встретить вот так человека... И вдруг слышишь от этого человека подобные слова...

Она вдруг ни с того ни с сего говорит:

— Вот вы про Пушкина только что говорили, а Лонгфелло вы читали?

— Кого? — спрашиваю.

— Лонгфелло.

— Читал! — соврал я.

— «Гайавату» всю прочли?

— Всю.

— До конца?

— А что?

— И как вам?

— Хорошо.

Прочел бы эту «Гайавату», думаю, гораздо лучше бы себя чувствовал. Да только разве знаешь, что именно про этого Лонгфелло будут спрашивать. Хуже, чем на экзамене, ей-богу, получается. Там хоть программа есть.

Дадут тебе перед экзаменом программу, и учи себе все билеты.

Я все боялся: она начнет сейчас спрашивать, что я у этого Лонгфелло еще читал.

А она говорит:

— Олешу вы, конечно, читали...

— Кого?!

Она на это внимания не обратила, что я переспросил, или не расслышала и говорит:

— Хороший был писатель, правда?

— Ну! Этот писал, — говорю, — день и ночь...

— Это вы о Бальзаке, наверное, вот кто действительно...

— Вот именно! — говорю.

— Нет, вы согласитесь...

— Я согласен! — говорю. — Согласен! — И чего она ко мне с этими писателями пристала — не понимаю. Про кино бы спросила. Про лес. Про природу. Про птиц. Мало ли про что спросить можно, боже мой!

А она говорит:

— Читали Сименона?

— Читал,— говорю. И волнуясь, на сплошных нервах держусь. Опять ведь спросит, что он написал!

Она говорит:

— Лэнгстона Хьюза читали?

Тут я не выдержал. Мне показалось, она подробно хочет спросить про этого Хьюза. Как заору:

— Сдалось вам, что я читал, а что не читал! Какое ваше-то дело! Что вы пристали?

Она зашаталась вроде. Так мне показалось. Она, может, тоже серьезные намерения имела. Ведь все хорошо так было! Так все шло!

Нет, она не упала. Она только перестала улыбаться и говорит:

— Я к вам пристала?

— Да, вы! — говорю.— Пристали с этими писателями как банный лист. Как... не знаю что!

— Ах вот как! — говорит.

— Да, да! — говорю.— Да, да, да!

А так хорошо было. Так все шло...

Она повернулась и пошла от меня, стуча каблуками. Потом повернулась и закричала:

— Ничего вы не читали!

Это была правда. И я не очень обиделся. А она еще раз обернулась и крикнула:

— Баба!

Это было самое настоящее оскорбление. А ведь все хорошо было. Так все шло...

И какого черта она пристала ко мне с этими писателями! Какое ей дело до всего этого? Что она мне, преподаватель? Что ей до этого всего, не пойму! Ну не читал. Нельзя за меня замуж выходить, что ли? Из-за этого? Чушь какая-то. Разборчивые слишком невесты пошли, вот что я вам скажу... А лучше бы читать все-таки. Сидеть с ней рядом да читать... читать...

А так хорошо все было. Так все шло...

ТУДА И ОБРАТНО

Зачем ОДНО учреждение переходило в здание ДРУГОГО учреждения, а ТО учреждение переходило в здание ЭТОГО учреждения,— так никто и не понял.

И в том здании и в этом здании одинаковое количество комнат.

И тут и там по сорок дверей.

И окон одинаковое количество.

И выключателей одинаковое количество.

И этажи те же.

Оба здания с красными крышами.

Оба здания стоят рядом.

Тащили шкафы несгораемые и шкафы простые.

Выкручивали, вкручивали лампочки.

Тащили столы и стулья. Тащили туда и обратно.

И перетасили.

Было:

В ОДНОМ здании с красной крышей ОДНО учреждение.

В ДРУГОМ здании с красной крышей ДРУГОЕ учреждение.

Стало:

В ДРУГОМ здании с красной крышей ОДНО учреждение.

В ОДНОМ здании с красной крышей ДРУГОЕ учреждение.

То есть наоборот:

В ДРУГОМ здании с красной крышей ДРУГОЕ учреждение.

В ОДНОМ здании с красной крышей ОДНО учреждение.

То есть:

В ОДНОМ — ДРУГОЕ.

В ДРУГОМ — ОДНО.

То есть:
В ОДНОМ — ОДНО.
В ДРУГОМ — ДРУГОЕ.

То есть:

ОДНО учреждение перешло в здание ДРУГОГО учреждения. А ТО учреждение перешло в здание ЭТОГО учреждения.

А зачем — непонятно!

ЭНЕРГИЯ И ТЕМПЕРАМЕНТ

Я знал его лично.

Он собирал автографы знаменитых людей. Он с ног сбивался в погоне за ними, а я диву давался его энергии и темпераменту.

Не раз задумывался я над тем, какая сила толкает его на эту тяжелую деятельность,— он спать не мог, если ему не давали автограф, и так страдал, будто бы обманулся в любви.

Он ловил у подъездов гостиниц известных спортсменов, артистов, разыскивал адреса ученых, писателей, передовиков производства — вообще всех, кто чем-либо прославился.

И он бывал так горд и счастлив, словно сам становился великим или сделал что-либо такое, чем действительно можно гордиться.

Как-то он показал мне автограф какого-то скрипача. Он сказал:

— Мне привалило счастье,— и показал мне такие каракули, какие мог сделать только ребенок.

Эта роспись была сделана на клочке бумаги, и мне так понравилась эта роспись, что я сказал ему:

— Эх и дурак же ты, братец!

Он так обиделся на меня за это, что не разговаривал со мной год. Но через год мы опять помирились, и

он показал мне столько листков с подписями, открыток, карточек, книжек, что я невольно пришел в удивление, как он мог столько всего собрать.

Я даже сказал ему:

— Это здорово, черт возьми!

Он обнял меня от души.

НЕ ДАВАЙТЕ РЕБЕНКУ КУШАТЬ ИЗВЕСТКУ

Мы жили в огромном доме. И в нем жило соседней полным-полно. Они очень любили нас и ходили к нам в гости. А мы очень любили их и ходили к ним. И вот так мы друг к другу ходили. Лишь не было случая проявить любовь. Как назло, не случилось бед. Никто в помощи не нуждался, и мы только ходили.

Беда пришла внезапно. Из пятой квартиры ушел мальчик Петя. Ему было только три года, и он ушел куда-то из дома в раскрытую настежь дверь. Весь дом всполошился, как по тревоге, и все отправились Петю искать. Все жильцы разбежались по городу.

Петина мама помчалась в больницу: она решила, что Петя там, раз он один ушел из дома.

Один из жильцов пошел на пристань.

Другой жилец побежал на вокзал — он тоже что-то имел в виду насчет железной дороги.

Сосед, что жил напротив, позвонил в отделение милиции. Он сказал, что пропал ребенок, имеющий очень веселый нрав.

Один жилец рыскал по магазинам и искал Петю там, где игрушки. Но всех перекрыл дядя Вася. Он разыскивал Петю во всех пивных и потерялся внезапно сам.

Все дотемна искали Петю, все бродили по городу целый день.

А Петя кушал известку со стенки в самом конце коридора.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Рудольф Ивановский вышел на репетицию к дирижерскому пульту, держа в одной руке дирижерскую палочку, а другой рукой судорожно протирая глаза.

Но сколько он их ни протирал, он не видел знакомых лиц, ни одного своего музыканта.

Он видел нечто странное.

— Где я? — спросил он сам себя.

Да, да, все симпатичные ребята, сидят, улыбаются, очень милые люди, но он их всех впервые видел, посторонние личности, незнакомые субъекты, батюшки мои, что у них за инструменты?!

Рудольф Ивановский не пил и на отдых заслуженный не собирался. Он хорошо себя чувствовал и вошел в то здание, в которое входил уже много лет. И поднялся по той лестнице, по которой он много лет поднимался. И находился он в зале, в котором столько лет дирижировал. Он, без сомнения, стоял за своим пультом.

Но между тем были сомнения.

Рудольф Ивановский ткнул своей дирижерской палочкой в грудь напротив сидящего музыканта и спросил:

— Кто вы?

— Я музыкант, — ответил тот.

— А где мой музыкант, который сидел на вашем месте?

— На кладбище.

— Он умер?

— Нет.

— Так что же он там делает?

— Играет на трубе.

— Как странно! Ну а вы? Вот вы. Где Смольников?
Где он?

— На кладбище, маэстро.

— А что он там делает?

— Разумеется, играет на скрипке.

— Слава богу, они не умерли, но почему они играют там, а не здесь? И где, позвольте вас спросить, остальные музыканты?

— Остальные на свадьбе, маэстро. Они играют на свадьбе всю ночь.

— Но почему же не вы играете на свадьбе, а они?

— Они нашли себе работу, маэстро, а мы не нашли.

— Что вы называете работой, позвольте вас спросить?

— Я называю работой то, за что платят деньги.

— А здесь им не платят деньги?!

— А как же, маэстро! Они ведь нашли замену. Мы их заменяем. Когда мы найдем себе работу, они нас заменят.

— Значит, все мои музыканты на кладбище и свадьбе?

— Кто где, маэстро.

— Где еще?

— Где попало, маэстро.

— Ничего себе музыканты!

— Но ведь мы заменяем их. Мы все готовы. И они нас заменят в нужную минуту по долгу дружбы и товарищества, маэстро!

— Вы все готовы?

— Все.

— Но я вижу одни барабаны! Надо же, чтобы одни барабанщики собрались!

— Это недоразумение, маэстро. Чистая случайность. Какая-то путаница произошла. Такое бывает раз в жизни, маэстро.

— Но это безобразие! Это даже не замена! Это бред! Сплошные барабаны, черт возьми! Оркестра нет, а впрочем... Все готовы?

— Все.

— Начнем! Новаторский оркестр! Что в мире не творится! Мы не отстаем, мы тоже пойдем вперед, черт возьми! Яблоко Ньютона, черт возьми. Начнем!

И Рудольф Ивановский взмахнул своей дирижерской палочкой, и барабанный оркестр грянул как гром с ясного неба под сводами театра.

ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ ТУДА ПОЛЕЗТЬ

У спуска к Неве толпа.

Все лезут к барьеру со всех сторон, но всех так много, что никак все не могут туда пролезть.

Я слышу кричат:

— Поймал! Поймал!

Я протискиваюсь к барьеру.

Мне рвут в клочья пиджак.

Я теряю галоши и шапку.

Наконец я у барьера.

На лестнице у воды сидит старик. Он в руках держит рыбку величиной с кильку. А удочку он опять забросил в воду и ждет, когда снова клюнет.

Я спрашиваю у стоящего рядом:

— Как бы мне отсюда вылезти и пойти домой?

Он лениво мне отвечает:

— Это совсем невозможно. Я стою здесь уже шесть часов.

Мы разговорились. Он сказал: у него есть дочка, сынок и жена. А я сказал, что в войну я служил сапером.

Он сказал, что, наверное, будет дождь, потому что тучи закрыли небо,— и как же тогда нам быть?

Я сказал, что дует ветер и мне уже холодно...

Он сказал, что, конечно, холодно, потому что осень...

СРЕДИ ПОТОКА САМОТЕКА

У бедившись в том, что я ничего не умею делать, я начал писать рассказы.

Я посылал их во все журналы и везде получал отказы.

Но это меня не останавливало. Многие писатели начинали таким же образом, можно вспомнить Джека Лондона. Он тоже не сразу пробился, не сразу стал великим писателем. Мысль, что я не умею писать рассказы, мне даже в голову не приходила. Невозможно же, в самом деле, даже рассказы писать не уметь!

Глядя на портрет Джека Лондона, я улыбался и говорил:

— Вот так-то, коллега, не сразу нас с тобой поняли!

И вдруг я получаю приятное письмо из солидного журнала за подписью консультанта. Он пишет: «...Среди потока самотека я обратил внимание на ваш рассказ «Яблоки из Гурзуфа», который не кажется мне неинтересным...» Дальше мне предлагалось зайти.

«Среди потока самотека рассказ ваш взволновал глубоко...» — с радостью насвистываю я и напеваю.

Письмо наклеил на картонку. Чтобы раньше времени не истрепалось. Согнул пополам. И в карман.

Чтобы те, кто во мне сомневался, изменили свое мнение, когда им ткнут в нос.

Никто до этого не предлагал мне зайти в редакцию. Наоборот — советовали не заходить и даже не писать. А тут колесо фортуны, как говорится, повернулось в обратную сторону. Точь-в-точь как у Джека Лондона в его романе «Мартин Иден».

Помчался в редакцию, нашел в конце коридора в темном углу консультанта за столиком.

— Это я,— говорю,— написал «Яблоки из Гурзуфа». — И показываю ему письмо, наклеенное на картонку.

Он свой почерк узнал, а рассказ не мог вспомнить.

Мы вместе вспоминали, а потом искали рукопись: она у него куда-то запропастилась, попала не в ту папку. Он все папки перерыл, но рассказа не нашел.

На другой день приношу второй экземпляр «Яблок из Гурзуфа».

Он рассказ прочел и говорит:

— Ну как же, помню! Сразу видно, что вы были в Гурзуфе и все это видели своими глазами. Очень точно сказано про жару. Жара там действительно есть. У вас очень хорошо написано: «жжет». Она именно — жжет. А вы не были в Кушке?

Я перепугался, вдруг это обстоятельство может повлиять на судьбу моего рассказа.

И я сказал, что был в Кушке, хотя там никогда не был.

— Вы помните Кушку? — спросил консультант.

— Еще как!

— Я служил там,— сказал консультант.— Вот где жара!

— В Гурзуфе тоже жарко! — испугался я.

— Нет, в Кушке жарче... Там жжет... — сказал он задумчиво.

— Значит, все в порядке?

— В порядке? Там, в Кушке, осталась моя любовь. Она осталась там, а я уехал. Разве это порядок?..

У меня отлегло от сердца.

— Напишите ей письмо,— сказал я.

— Такая загорелая девка...— сказал он откровенно.

— Позовите ее сюда,— сказал я.

— Слово «жжет» меня покорило в вашем рассказе. Меня всю жизнь что-нибудь жжет. То солнце. То работа. То любовь. Очень емкое слово!

— Старался вовсю,— сказал я.— Специально для этого нелинованную тетрадку купил. Не получается — лист рву безо всякого! Долой! Раз не получается!

— Это очень хорошо... Пойдемте к редактору, я вас ему представлю.

Редактор сказал консультанту:

— В таком случае, милый, не возьметесь ли вы сами редактировать рассказ? Вы открыли нового автора, так будьте для начала его редактором, тем более у нас освобождается штатная единица.

— У него точные слова,— сказал консультант.— У него очень точные слова...

— Тем более у него очень точные слова,— сказал редактор.— Я, правда, не читал рассказа, но я думаю, у него точные слова, раз вы говорите, что они у него точные.

Рассказ был напечатан.

А на следующий день моего нового редактора, бывшего консультанта, уволили...

Не думаю, что за меня. Но в то же время у него ведь не было других авторов...

— Как же я теперь буду жить? — пожаловался он мне.— Я ведь не умею ничего делать...

Я подбодрил его.

— Пишите рассказы,— сказал я,— пишите их побольше, рассылайте во все издательства, как Мартин

Иден. Действуйте, как я. И все будет в порядке.

— Давайте вдвоем,— сказал он,— у меня одного не получится.

— Давайте, давайте,— сказал я,— у меня уже есть литературный опыт, одна голова хорошо, а две лучше!

ДВА МОСТА БЕЗ ТРЕТЬЕГО

На одной стороне он жил, на другой работал — только через Неву. Из дома он видел тот дом, где работал, а из окна на работе — свой дом.

Словно рукой подать через Неву. Да не так. Мосты находились далеко. Как будто нарочно их растащили: один мост влево, другой мост вправо — до каждого нужно тащиться. И оба на расстоянии равном.

Один день он шел по одному мосту, в другой ходил по другому. Но это его не устраивало. И он стал на работу ходить по одному, а с работы шел по другому. Потом переменялся мостами и стал ходить по ним наоборот.

То есть: с работы он шел по одному, а на работу ходил по другому.

И это так его закружило, что он перепутал мосты.

ОН САМ НАМ СКАЗАЛ ОБ ЭТОМ

Представляете — пол совершенно чистый. По чистому полу идет человек. А если пол грязный? Что тогда? Человек тогда ходит по грязному полу. Наверняка он не улыбается. У него настроение портится.

Так вот. Один из нас не хотел мыть пол. Он уселся на подоконник. Хихикает. Пол совершенно не моет. Сидит. Пол мыть не хочет. Уселся там. И хихикает. Мы ему говорим:

— Ты ходить будешь по полу?

Он отвечает:

— Ходить все будут.

— А ты?

— И я вместе со всеми.

— А мыть пол будешь?

— Не буду.

— А ходить будешь?

— Буду.

И потихоньку хихикает. Ждет, когда мы вымоем пол. Кривляется. Он ведет себя так отвратительно — просто ужас!

Тогда мы ему говорим:

— Вот ты сидишь?

Он говорит:

— Сижу.

Мы ему говорим:

— И сиди.

Он говорит:

— И сижу.

Мы ему говорим:

— Но слезать уже не вздумай. Мы тебе не позволим слезть на пол. Двое из нас все фронты прошли. Ни один фронт не пропустили. Мы таких много видали. Ишь какой! Пол мыли мы, а ты пол не мыл, и мы будем ходить по полу, а не ты.

— А как же гулять я пойду? — спросил он.

Он видит, дела его очень плохие. Ему ни за что не позволяют слезть на пол. Несмотря на то, что он хочет гулять.

Тогда он что делает?

Он перестает хихикать. Берет в руки тряпку. И начинает мыть пол. Сначала он мыл его возмутительно. Он просто слегка водил тряпкой по полу. Он корчил ужасные рожи. Брезгливо морщился. Как-то странно щурился. На всех косился. Фыркал. Дулся. Специаль-

но кашлял. Но постепенно он изменялся в лице. Оно у него прояснялось. Его лицо становилось нормальным. Я бы даже сказал, симпатичным. Он перестал строить рожи. Стал энергично макать в ведро тряпку. На него стало просто приятно смотреть! К концу он спел бравую песню. Попросил даже всех отдохнуть. И закончил сам всю работу.

Потом он гордо выпрямился. Поднял голову. Слегка крикнул. И прошелся по чистому полу.

На душе у него было празднично. Он сам нам сказал об этом.

А КАК ТЫ ДУМАЛ!

Он мне с самого начала заявил: «Денег, — говорит, — у меня никогда не бывает». В этом смысле он честно поступил, сказал, как есть. Не в деньгах счастье, а в человеке, в дружбе, в порядочности — вот в чем счастье. А денег у меня у самого никогда не бывает, велика важность!

Ну раз так, думаю, раз все так, подумаешь, разные мелочи, стоит ли считаться, копошиться, разбираться, за все сам заплачу. Экая важность, тем более важности у меня никакой нет. Человек я простой, и порядочности во мне хватает, соседи подтвердят. А если у соседей что беру, то тут же отдаю.

Неплохо, леший, зарабатывает, в два раза больше меня. Да только денег у него действительно не бывает — все как есть разлетаются неизвестно куда. Как не посочувствовать человеку, если у него кроме новой жены три старые в разных городах обитают, и он для них из последних сил выбивается. Он, по своей порядочности, может быть, не желает, чтобы его прежние подруги кое-как существовали на свое скудное жалованье. Ничего в этом удивительного, я считаю, нет.

Нужно только приветствовать благородные порывы и отмечать.

Или он какую-нибудь вещь в кредит приобрел и теперь за нее выплачивает каждый месяц? И ничего не будет предосудительного, если он снова потом в кредит вступит, когда за эту вещь окончательно рассчитается.

А может быть, он деньги копит на всякий пожарный случай? Хорошая черта в человеке, и больше ничего!

После работы он меня дожидается или я его дожидаюсь. С пива, само собой, на вино переходим. Долги у меня набираются, форменная чертовщина. Завяз в долгах, как в трясине, но духа не теряю. Ничего, не пропадем, все перемелется — подумаешь: долги! Пушкин вон всю жизнь в долгах сидел, а зато какой поэт! Отдам как-нибудь долги, заработаю на сверхурочной.

За спиртное долги не считаются, а то не по-товарищески получится.

Пять рационализаторских предложений внес, пять премий получил, но что они, эти премии, двоим таким здоровым мужикам!

А если мы соревноваться начинаем, кто больше выпьет, то изумительное количество в нас вмещается, трудно даже подсчитать.

Вступаю в кассу взаимопомощи, беру ссуду — поддерживаемся некоторое время. Ссуда кончается, долги набираются, я ему как-то сказал:

— Слушай,— говорю,— Саша, ты иногда-то хоть плати, хоть в месяц раз, я совсем, понимаешь ли, выбился из сил.

А он на меня удивленно посмотрел и говорит:

— Ты ведь знаешь, у меня нет денег.

— Нет-то нет,— я ему говорю,— да только у меня самого сейчас тоже нет.

— Да ты что,— говорит,— серьезно или шутишь?

— Долги, понимаешь, у меня крупные набрались,— я ему отвечаю.

— А ты займи,— говорит,— у одних, а другим верни, так до смерти можно продержаться.

Поблагодарил его, как-никак дельную мысль подал, действительно, так можно продержаться. С таким товарищем, думаю, не пропадешь.

Бегаю с утра до вечера в воскресный день: у одних занимаю, другим отдаю, перезанимаю, перебиваюсь, выкручиваюсь, зубы заговариваю... Этим — половину, тем — полностью, одним — четверть, другим — ничего, выхожу из положения с трудом.

Чувствую, однако, подобная ситуация не есть выход из положения.

Размышляю о новом рационализаторском предложении. Некоторым попросту не нравится, что ихние трудовые сбережения так долго находятся в чужих руках, а другие, не имея сбережений, остаются на боках.

Одна особа, очень неприятная на вид, заявляет, что хочет купить рояль и чтобы я ей долг поскорее вернул. Я очень деликатно говорю:

— Зачем вам рояль, не понимаю? Бросьте, даже не думайте разной мебелью квартиру загромождать, пройти будет негде с вашей комплекцией, шипек себе набьете.

Она мне заявляет, что внучка подросла и ей незамедлительно нужно учиться на фортепьяно. Сколько детей обходятся без рояля, а ее внучка — особенный экземпляр! Я так ей и сказал.

— Не ваше дело,— говорит.— Вы у меня взяли и потрудитесь отдать. Возвратите в срок по-хорошему. Я ей очень просто отвечаю:

— У меня денег нет.

— Вы неблагодарная свинья. Я вам деньги дала как порядочному человеку, а вы скотина!

— Сами вы,— говорю,— скотина в таком случае! Она в плач. Факт неприятный.

— Берите,— говорю,— с меня часы, рубашку, больше у меня ничего не осталось, все берите, грабьте, ешьте свои деньги! — И начинаю скидывать с себя одежду, а она мне мое барахлишко обратно швыряет да с такой силой,— неприличная вышла сцена, и разные другие вышли сцены, неохота вспоминать.

Как они понять не могут, что не в деньгах счастье, не в них скрыт философский смысл, не деньги делают человека, а наоборот. Неужели они понять не могут, что, поступая таким образом, они обедняют свою душу, падают морально невероятно низко. Неужели они не чувствуют ничего?

Я все это рассказываю своему другу, мы с ним возмущаемся, удивляемся тем людям, которые требуют с нас деньги, когда у нас их нет, ругаем их, выпиваем, энергично себя чувствуем, снова выпиваем, и у нас появляется желание попариться в бане.

Предложение здоровое. Я покупаю две мочалки, два банных мыла, два банных билета, добавляю туда же две майки, двое трусов и две пары носков. Идем в баню и отлично паримся, по-русски, как в деревне.

В предбаннике пьем пиво.

Он идет в парикмахерскую, садится в кресло, бредется и стрижется.

Он заходит в спортивный магазин и выбирает себе спиннинг.

Я спрашиваю его:

— Послушай, а за спиннинг тоже я должен платить?

Он повернулся ко мне, уставился на меня своим изумленным светлым взглядом и сказал:

— А ты как думаешь?

НОВАЯ ШАПКА

— О! У вас новая шапка! — удивился я, столкнувшись со своим соседом по лестничной площадке. — А где ваша фуражка с блестящим козырьком? Сегодня я не сразу вас узнал, а раньше, бывало, издали в толпе по фуражечке отличал. Отчего такая перемена? Вся жизнь, можно сказать, в ней топала при любой погоде.

— Да, да... — он с чувством вспоминал, — и летом, и зимой, и когда в техникум пробивался...

— Техникум давно окончили?

— Да не пробился... — Он махнул рукой.

— Неужели из-за этого фуражку сменили?

— Да нет... — он вздохнул, — столько всего передумал, пока решил расстаться с фуражкой, но другого выхода у меня не было.

— Отменная была фуражечка, — сказал я.

— Хлопот она мне много доставляла, возникали ситуации, и вообще... Ах, вы ужасно расстроили напомианием!

Мы спускались по лестнице, а он рассказывал:

— Первая ситуация: летел я самолетом из командировки. Два часа летели, а приземлились в том же городе, откуда вылетели. Спускаюсь по трапу впереди всех пассажиров. Внизу возле трапа летчик вытирает платком потный лоб. Возмущенно спрашиваю, почему я опять здесь очутился. «Пришлось, — говорит, — вернуться, потому что в грозу попали». — «Очень некрасиво, — говорю, — попадать куда не следует, безобразие, и больше ничего!» — «Скажите лучше спасибо, — он мне говорит, — что благополучно вышли из грозы». — «Зачем же вы туда входили? — говорю. — Этого еще не хватало, чтобы мы оттуда не вышли!» Слово за слово. «Сойдите лучше с трапа, — говорит, — и

дайте людям спуститься». А сзади напирают и галдят, чтобы я посторонился. А я, пока не выясню ситуацию, никогда на посторонних не реагирую. Вцепился в поручень намертво двумя руками. Стиснул зубы. Как вдруг... Вы не поверите: какой-то тип нахлобучивает мне фуражку на глаза до самого кончика носа!

— Ну а вы?

— Что я? Руки заняты... поправить не могу... и темнота как в подземелье.

— А поручень почему не отпустили?

— В такой ситуации не сообразил.

— И не видели, кто это вам сделал? — поинтересовался я.

— Конечно нет. Ловко, паразиты, работают, зафиксировать не удастся никогда.

— И в дальнейшем такое с вами случилось?

— Много раз. Еду как-то в трамвае и читаю крупное произведение. Рядом парень сидит. Я стою. Читать трудно. Почему бы, думаю, не подержать здоровенному детине книжечку временно на своей голове? Женщины вон кувшины на головах таскают сколько угодно. И осторожно опускаю книгу ему на голову под предлогом давки в вагоне. Он башкой крутанул влево, вправо. Туда и сюда. Заерзал, завертелся как юла. Хотел освободиться. Но не тут-то было. «Убери», — говорит. Я убрал. Забыл уже о нем, а он встает, натягивает мне на глаза фуражку и выходит.

— А вы?

— Поправил свою фуражку.

— А потом?

— Сел на его место. Уперся книгой в затылок другой головы и читаю.

— Какой другой?

— Человеческой, разумеется, какой же еще! Впереди сидящей.

— Ну и как?

— Несколько страниц прочел.

— Спокойно?

— А тот спал.

— И чем кончилось?

— Проснулся, предложил выяснить отношения на улице. Я отказался. Зачем? Что мне с ним выяснять? Для чего? Он подождал, когда я выйду,— и за мной. Я от него. Догнал — раз мне на глаза фуражку! Ну что взять с некультурного человека! Поражаешься людям, которые не умеют вести себя на улице...

— Ну и как вы на это реагировали?

— Поправил фуражку, а он мне ее снова натянул. Я ее поправлять больше не стал, пока он не ушел. Кошмар!.. Еще случай был, когда влюбился. Дарю ей цветы. Покупаю ей разные билеты, вплоть до лотерейных. Неожиданно она мне сообщает, что один билет выиграл, на что я, разумеется, не рассчитывал. Потребовал, разумеется, обратно, а она меня спрашивает: «Это вы серьезно?» Билет мне возвращает, и я его кладу в карман. А она в это время вцепилась в мою фуражку и напяливает ее, напяливает мне на глаза...

— И как вы себя почувствовали?

— Никогда не думал, что женщины на такое способны наравне с мужчинами. Было дело. Да что вспоминать!

— И больше вы с ней не встречались?

— Да пока я фуражку поправлял, ее и след простыл. Еще случай. Сажу в кино. А сзади мне взяли да на глаза фуражку надвинули...

— Зачем же они это сделали?

— Не видно им было из-за моей фуражки, наверное...

— Без всякого предупреждения, что ли?

— Может, и предупреждали, да я, когда фильмом увлекаюсь, ничего вокруг не слышу...

— Не сидели бы в кино в фуражке...

— Ну, знаете, многие картиной увлекаются, а головные уборы у них под ногами валяются...

— Неужели весь сеанс просидели в надвинутой на глаза фуражке?

— Назло.

— И ничего не видели?

— А я эту картину, к вашему сведению, не первый раз глядел. Слышу слова актеров и отчетливо себе представляю, что на экране происходит.

Он вспоминал и вспоминал:

— ...Мчусь во весь дух, вдруг на полном ходу натягивают мне на глаза фуражку.

— Куда вы так мчались?

— Сдавал ГТО.

— Кто же это пошутил?

— Соперник.

— Для чего?

— Чтоб перегнать, наверное...

— Зачем же было в фуражке бежать?

— Ну уж вы скажете, будто нельзя в фуражке бегать...

— Норму все же сдали?

— Второй раз бежать пришлось.

— Без фуражки?

— Снял... С тех пор не надевал. Теперь-то я, как видите, закрыл дорогу любителям подобных шуточек. Навсегда пресек охоту покуражиться над фуражкой. Еще вам рассказать?

Больше у меня не было желания слушать. Единственное желание произвольно появилось. Очень сильное. Меня прямо потянуло к его голове. Что за наваждение! Шел снег. Он был в ушанке. Топорцились в разные стороны два меховых симпатичных уха. Только дернуть за уши — и моментально шапка окажется на его глазах...

— Вы первый день недели шапку? — спросил я.

— А что? — спросил он.

— Да ничего...

Искушение дернуть за уши шапку было велико, но я быстро попрощался и ушел от греха подальше.

С УТРА ДО ВЕЧЕРА

Этот современный паренек в расклешенных штанах со всеми своими водопроводческими инструментами не очень-то спешил за краны приниматься.

— Из кранов, значит, каплет? — спросил он в третий раз.

— Да, как всегда, — сказал я в третий раз.

— В квартире, кроме вас, больше никого нет?

— А какое это имеет значение?

— Есть шансы, — сказал он, озираясь по сторонам.

— А что такое?

— Да вы не волнуйтесь... Очень мне нелегко начинать... неудобно человека беспокоить...

— Я сам вас вызывал.

Он топтался на месте. Молчал. Вдруг сказал:

— Вот я здесь встану... Так? А вы там сядьте.

Так...

Я сел.

— Дальше что?

— Значит, так... — продолжал он, — с чего бы начать?.. Магомаев, Хиль, Пьеха, Кристалинская, Кобзон... наверное, слышали? Пластинки у вас есть? Ненашева, Вардашева, Пахоменко...

С самого начала он на меня тягостное впечатление произвел.

— Мечтаю поступить на вокальное отделение, — пояснил он наконец, — с детства пою с утра до вечера. Родственники, товарищи сначала меня слушали, а потом взмолились — сколько можно! Меня, в общем-то,

некому слушать, понимаете? Работаю сантехником. Вот и приходится петь с утра до вечера в чужих домах...

— Петь с утра до вечера прекрасно,— сказал я.

— В чужих домах? — спросил он недоверчиво.

— Все равно где,— сказал я,— какая разница?

— Серьезно? Вот вы правильно рассуждаете, сразу меня поняли.

— Лучше спойте,— сказал я.

— А что спеть? Можно начинать?

— Спойте, что у вас лучше получается.

— У меня все одинаково получается.

— Ну спойте все.

— Во человек мне попался! — сказал он восхищенно.— А соседи ничего?

— Соседи на работе.

— Так. Ладно. Сейчас я начну.— Он прокашлялся. Снова спросил: — А напротив?

— Ну, те далеко.

— Всего через площадку,— сказал он,— не так далеко...

— Да ну их,— сказал я.

— Подряд петь? — спросил он.

— Ну подряд.

— Без передышки? Я не устаю,— предупредил он.— Ладно. Так...

Он спел несколько песен, и мне понравилось.

— И много у тебя родственников? — полюбопытствовал я.

— Народу полно,— сказал он,— да им радио вполне хватает. Я ведь их ни в чем не обвиняю...

— И товарищей полно?

— Полно.

Даже жалко его стало: не дают человеку петь с утра до вечера.

— Еще спеть? — спросил он.

— Давай, давай, не обращай на меня внимания.

— Как это не обращать?

— Как будто меня нет.

— Кому же я тогда пою? — обиделся он. Без слушателей он не мог.

Я его подбодрил:

— На твоём месте я бы непременно пел с утра до вечера.

— До вечера ещё далеко, — успокоил он.

— Про мои краны не забудь, — напомнил я.

— Как можно! Спеть ещё?

Он в самом деле ни черта не уставал. Рассчитывать на то, что он устанет, никому, наверно, не приходилось. Прослушав подряд песен сорок, я лучше теперь гонимал его родственников и знакомых.

В дверь постучали. Он с досадой сказал:

— Ну вот, я же знал...

Я пошел открывать.

— Умерьте телевизор, — сказала соседка.

— Умерю, — сказал я.

— Водопроводчик к вам не приходил? — спросила соседка.

— Он у меня, — сказал я.

— Непременно его потом ко мне пошлите.

— У нее не споешь, — понял он, — да я к ней сегодня не пойду.

— Между прочим, я тоже песен больше слушать не могу, — сказал я откровенно.

— Я-то знаю, — сказал он, — слушать меня никому неохота с утра до вечера. Вот окончу я музыкальное училище, и будут меня слушать все как миленькие за купленные билеты.

— И я приду слушать, — сказал я, чтобы от него отвязаться.

— А сейчас больше не хотите? — спросил он.

— Соседка не позволит, — сказал я.

— Ах да, я и забыл... А как вы думаете, поступлю я в музыкальное училище?

— Отчего же, поступишь, возьмешь и поступишь.

— Возьму и поступлю,— повторил он твердо.

— Возьмись-ка ты пока за краны,— сказал я.

— А как вы думаете,— спросил он неожиданно,— нужно ли мне постричься?

— Нет вроде...

— А все говорят...

— Ну зачем же, ведь ты артист!

— Во-во! — обрадовался он. — Совершенно верно! Буду продолжать развивать свой голос с утра до вечера и не стричься, пока не поступлю в музыкальное училище! Спою вам еще одну песню и пойду.

Настоящий современный парень, певец по совместительству, поющий водопроводчик со своей мечтой поступить в музыкальное училище, ушел по сантехническим нарядам, забыв исправить краны и оставив меня совершенно разбитым.

В кухне он оставил свой слесарный инструмент.

Зазвонил телефон.

— Я тут недалеко,— узнал я его голос,— в вашем доме! Целая семья меня слушает, чертовски повезло, не хотите ли прийти?

— Нет, нет, я не могу...

— Эх, жаль... здесь все с гриппом лежат... на работу не пошли.

— Ну хватит, разные там глупости...— разозлился я.

— Я у вас инструмент оставил,— орал он,— закончу здесь и к вам зайду.

— Ради бога...— взмолился я,— ничего вы не оставляли...

— Как не оставлял?!

Ведь если он вернется, начнет петь...

— Все равно я зайду... Посмотрите. Не может быть...

— Я уезжаю,— сказал я в отчаянии.

— Когда? — спросил он.

— Сейчас.

— И надолго?

— Боюсь, насовсем.

— Но мне здесь краны не открутить...

— Ну хорошо, я оставляю ваш инструмент у соседей.

— Нашли, значит? Я же знал!

— Да. Нашел. Но я очень спешу.

— А им можно спеть?

— Кому?

— Тем соседям, которым вы оставите?

— Ах, откуда я знаю!

— За то, что вы нашли мой инструмент,— сказал он,— я вам спою сейчас по телефону.

Я бросил трубку.

Я больше не мог. Он пугал меня. Доканывал. В его репертуаре были песни всех стран, всех народов.

Я от души желаю ему поступить в музыкальное училище, чтобы он оставил в покое родных, товарищей, соседей.

Чтобы он оставил в покое тех, у кого не в порядке краны.

Чтобы он навсегда оставил меня в покое.

Чтобы он нашел себе широкую народную аудиторию, достойную его таланта и энергии!

ЛЮБОВЬ МОЯ

Я влюбилась в него, ой как ой! Голова его на длинной шее изящно покачивалась в толпе, возвышалась над всеми головами на целую голову. Он двигался

мелкими изящными шажками не спеша, и это ему придавало солидность. Руки он держал в карманах, а не размахивал ими разгильдяйски, как это делают некоторые. Он увидел меня, а я его, и, кроме друг друга, мы никого уж не хотели видеть. Он меня поразил. У него оказались выбиты все передние зубы. И это придавало ему мужественность. Он врезался в оконное стекло, играя в пинг-понг. Он поранил себе все лицо. И я решила, что мне нужен именно такой человек. Когда он смеялся своим беззубым ртом, все женщины пропадали из виду. Ой как ой я люблю, когда от моего мужчины шарахаются другие женщины. Да и какая же не мечтает, чтобы любимый принадлежал только ей! Я просила его побольше смеяться, и он поминутно хохотал, разгоняя всех вокруг. Он не жевал, а глотал еду, и я не успевала ему готовить. Да и какая женщина не мечтает беспрерывно готовить для своего любимого! Он был правнук кого-то из друзей Пушкина, ему рассказывала об этом мать, которая слышала это от своей бабушки, а та, в свою очередь, от загадочного друга друзей Пушкина. Он любил повторять:

— Культуры этой у меня давно воз, и теперь мне просто приходится ограничивать себя в культуре.

— Но почему же ограничиваться? — спросила я однажды.

— Чтобы всех вокруг не обескуражить, — ответил он.

Мы были в Эрмитаже, и он ходил в толпе, а голова его покачивалась, как всегда, в такт, возвышалась над всеми. К нам вдруг подошел смотритель зала и говорит:

— Выведите отсюда вашего приятеля, он совершенно пьян.

— Вы не правы, — сказала я, — так ходить — его манера.

— Тогда мы выведем его сами, — ответили мне, —

у вашего друга голова совершенно не держится на плечах.

— Но ведь это смешно,— сказала я,— вы нас смешите.

И мой любимый рассмеялся. Смотритель шаракнулся в сторону, другие люди тоже, и мы остались одни, окруженные со всех сторон шедеврами старых мастеров эпохи Возрождения.

Он был неотразим. Однажды мы сидели в компании, и он хохотал до упаду, близко к сердцу принимая анекдоты. Давно уже не было гостей за столом и рассказчика, а он все не унимался, и я вдруг почувствовала, что мне надо тоже уйти...

И я ушла. Навсегда. Ну почему, почему... Потому что:

1. Он мог вставить зубы.

2. Не семенить, а ходить.

3. Не глотать еду, а есть, как все люди, и мне не приходилось бы непрерывно торчать у плиты.

4. Он мог не держать в карманах руки и в то же время не размахивать ими по-разгильдяйски.

5. Он мог не врезаться в стекло, оно само никогда ни в кого не врежется.

И вовсе не нужно человеку ограничиваться в культуре.

И что это за смех... и вообще?!

А Пушкин здесь при чем?

Короче говоря, любила я его три года ой как ой, а потом разочаровалась ой как ой!

АВРЕЛИКА

(Доктор филологических наук)

— **З**а свою жизнь я сделал выдающееся открытие,— улыбнулся он устало,— пустил по свету слово **АВРЕЛИКА**. Докторскую диссертацию защитил на это сло-

во. Сотни страниц исписал бисерным мелким почерком. Старался больше есть, чтобы курить поменьше, поменьше спать, чтобы больше написать. С тяжелыми свинцовыми веками и отяжелевшим желудком бил в одну точку...— Он откинулся в кресле и закрыл глаза, давая понять, что бить в одну точку с тяжелыми веками и отяжелевшим желудком далеко не легкое занятие.— Труд кропотливый, повседневный, повсеместный, постоянный, неисчерпаемый...— продолжал он, но я перебил:

— Аврелика?

— Ударение на первой букве,— поправил он,— вы неправильно произносите. Ударение на «а». Аврелика — вот как следует произносить. Некоторые на ваш манер предпочитают ударение на «ли», будто так красивей, но ведь не в одной красоте дело. Не все красивое имеет чисто практический смысл. И еще: не путайте со словом «Эвридика». Между этими словами нет ничего общего. Эвридика — женщина, мифологическая героиня, надеюсь, вам известно. В то время как аврелика — собственное мое детище, смею вас уверить...

— Так что же эвридика... ах да — аврелика...

Он радостно воскликнул:

— Я так и знал, что вы начнете путать, это со многими происходит! Но я все учел,— он подмигнул мне,— все оговорил в моей докторской диссертации. Путайте себе на здоровье и пеняйте на себя во всех случаях.

Я сделал вид, что понял. Он сказал:

— Когда человек все понимает, он находится на высоте необозримой и недосыгаемой.

Оказавшись на «неимоверной высоте», я все-таки спросил:

— Каким же образом вы пустили по свету это свое слово?

Он глубоко вздохнул. Не так-то, мол, все просто было.

— Постараюсь объяснить. Слушайте меня внимательно и не перебивайте. Итак, в любом разговоре вы вставляете постоянно слово АВРЕЛИКА, к примеру: «Здравствуйте, аврелика; до свидания, аврелика; передайте привет, аврелика; примите мои соболезнования, аврелика». Вы все время вставляете это слово в разговоре. Вы меня хорошо поняли?

— Досконально, — сказал я. — Но смысл какой?

— Не спешите, не спешите. Итак, вы нарочно вставляете это слово при любом разговоре, с любым собеседником, так?

— Ну так, а дальше что?

— Вы проделываете это с серьезным лицом, — выставлял он указательный палец перед своим носом, — иначе...

— Что?

— Провал. Воспримут несерьезно.

— Ах вот что!

— То-то и оно.

— Не вижу здесь вообще ничего серьезного, — сказал я серьезно.

— Вы серьезный человек? — спросил он серьезно.

— Аврелика — это имя? — спросил я на всякий случай.

— Не в этом суть.

— Каким же образом это слово пошло по свету?

Лицо его стало настолько серьезным, что я усомнился в несерьезности.

— Послушайте внимательно: тот, кому вы вдалбливаете аврелику...

— Зачем мне ее... эту вашу аврелику, кому-то вдалбливать!

— Да не спешите вы! Если вы будете спешить, я не стану... не стану объяснять... и... в конце концов...

молчите. Можете вы помолчать? Вы у меня спросили, я вам согласился отвечать... а вы молчите, и все тут.

— Слова вам сказать нельзя?

— Можно! Можно!!! Но не сейчас. Так вот... Итак, тот, кому вдалбливаете аврелику, сам в конце концов начинает произносить это слово, то есть ваш собеседник в свою очередь пересыпает свою речь авреликой, и таким образом аврелика передается друг другу.

— Для чего?

— Мое учение АВРЕЛИКИЗМ, погодите улыбаться, необходимо человеку, как вода. Как воздух. Как стройматериалы, в конце концов, бетонные перекрытия, блочные дома, музыкальные инструменты, автобусы, троллейбусы, балконы, авиационная промышленность, еда, питье, самовары и одежда!

— И вы еще считаете меня нетерпеливым,— сказал я.

— А что? — Он крутанул головой в одну, в другую сторону и оглядел меня мутным взглядом. По взгляду этому я понял, что, когда его заносит, он не так быстро останавливается.

Он уселся поглубже в кресло, провалился в него и начал тоненько и визгливо:

— Человеку гораздо легче говорить, пересыпая авреликой свою речь. Он меньше заикается, если раньше заикался, меньше волнуется, если склонен к волнению, меньше спотыкается на словах, имеет возможность найти нить своей речи, если она теряется... аврелика ему помогает сосредоточиться...

Он выполз из кресла, оперся о подлокотники, подался весь вперед.

Я спросил его:

— По-вашему, выходит, засоренная речь лучше чистой речи?

— Не в этом суть. В крайнем случае, можно делать ударение на последнем слого, слово-то остается.

Да и не в ударении дело, если на то пошло. Гибкость всегда хороша. И везде.

— Не о том я толкую,— сказал я с досадой.

— Да вам не втолкуешь,— сказал он с досадой.

— Но почему вы уверены, что ваше слово пошло по свету?

— Здесь у меня целая теория. Сотни страниц, написанные мелким бисерным почерком. Все учтено. И оговорено. Возьмите кавказские народы. У них добавляют в разговоре «э» или «а». К примеру: «Послушай, а... куда идешь, э... домой не приходи, а... хуже будет, э...» и так далее. Так вот. Если аканье и эканье удобно, целесообразно, смягчает интонацию речи, сближает и уравнивает собеседников, то звучное «аврелика», как некое эсперанто, заменит «а» и «э». Красивей и целесообразней, согласитесь, хотя и длинней. Но зато легче найти нить. Произнесешь, к примеру, медленно: АВ-РЕ-ЛИ-КА...— и вот уже ускользнувшие слова выплывают как расписные.

— По-вашему, выходит, все люди теряют нить разговора, в голове у них целый сумбур и сумятица?

— У большинства.

— И вы своей авреликой в два счета устраните эту сумятицу — и мозги у людей заработают как часы?

— А что?

— Да ничего.

— Вот то-то и оно.

— И вы в этом несколько не сомневаетесь?

На секунду он задумался.

— Те люди, которые шпарят без запинки и не теряют нить, пусть себе шпарят, но... не исключено, что они начнут вдруг шпарить одно лишь слово АВРЕЛИКА, АВРЕЛИКА, АВРЕЛИКА... Слишком восприимчивые люди, сами понимаете... близко к сердцу все принимают.

— Да ну вас! — отмахнулся я.

— Конечно, некоторые, вроде вас, обрывают меня и смеются, а воспитанные люди в большинстве случаев делают вид, что не слышат аврелики, но на самом-то деле... слышат. Должно привиться. Ведь в диссертации все учтено и оговорено.

— Но почему вы именно это слово выбрали, не пойму. То есть вы его изобрели, прошу прощения. Бесмысленных-то слов сколько угодно можно изобрести. Любым словом можно «пересыпать», как выразились вы.

— Любым?

— По-моему, любым.

— Гм...— сказал он после некоторого молчания.— Об этом я не подумал... Можно подыскать другое слово, но важен принцип...

— Но по свету-то вы пустили именно это слово?

— Ну, оно еще не успело облететь весь свет...

— Не собираетесь ли вы заменить его другим, пока не поздно?

— Гм... целесообразней оставить старое. Оно начало свое движение и пусть продолжает шествие. Поскольку все оговорено и учтено.

— Не все,— сказал я,— далеко не все. Себя вы не учли.

— Как то есть?

— Забыли пересыпать свою речь авреликой,— сказал я.

Он спохватился:

— О да... Аврелика... тьфу, черт, аврелика... конечно же, аврелика, да, да...

(Теория, не связанная с практикой, сотни страниц, исписанных мелким бисерным почерком,— коту под хвост.)

Он все твердил:

— Забыл, забыл пересыпать...

— Из пустого в порожнее,— добавил я.

А он утомленно улыбнулся. Он давал понять, что всю жизнь пересыпать из пустого в порожнее — нелегкая работа, тяжкий труд. И от этого сознания улыбка не сходила с его лица, становилась резче, четче, каменным становилось у него лицо и каменной была улыбка.

И легкое слово «аврелика» превратилось у него в камень тяжелый, громоздкий, брошенный посреди дороги и мешающий проехать и пройти.

ЭТО БЫЛО ВЧЕРА

Нас разделяла перегородка с обоями с двух сторон. За перегородкой я слышал, как Кошкин кашлял и как смеялся, когда вычитывал в книжках смешное. Он всегда громко смеялся, читая забавные книжки. Иногда он смеялся по целым дням, с перерывами на обед. Это значит, что книжка попалась очень забавная. Он стукал мне в перегородку, приглашая с ним посмеяться. Мы сидели вдвоем на его диване и грохотали что было мочи. Мы смеялись так, что графин на столе выплескивал воду. Я не мог очень много смеяться, я тотчас чувствовал спазмы в горле и уходил к себе. Каждый раз зарекался я смеяться так сильно. Вот и сейчас, я только что лег и улеглись мои спазмы, как вдруг он опять стал звать меня, заливаясь смехом. Но я больше не мог смеяться. Он позвал меня еще раза два. Я притворился спящим.

И вдруг... Он прошел сквозь перегородку, прошел надо мной по воздуху, сотрясаясь от смеха, вошел в другую стенку, вышел из нее, нырнул в потолок и все продолжал смеяться, смеяться, потом он вошел преспокойно в пол, вышел из пола, нырнул в окно, вынырнул из окна, затем пропал на моих глазах, очутился на улице, и оттуда я слышал его непрерывный смех.

Я накрыл голову одеялом. Это все показалось мне слишком странным. Я накрыл голову одеялом и так сидел без движения, но чувствовал, что у меня дрожат колени. Кошкин звал меня за перегородку.

Я молчал.

Он снова позвал меня.

Я молчал.

— Сережа,— спросил он,— ты спишь?

— Я не пойду,— сказал я глухо.

— Ну и дурак,— сказал он.

— Ну и ладно,— сказал я глухо.

Кошкина хоронили на другой день. Он лежал в гробу с улыбкой. Его провожали с музыкой. На кладбище выступали ораторы. Хвалили Кошкина. Говорили, что зря он умер. Плакала мать его, приехавшая из Пензы. Печально смотрел брат его из Мытищ.

На следующее утро Кошкин позвал меня из своей комнаты. Он опять над чем-то смеялся. Это меня удивило, так как он вчера умер. Я вошел к нему. Он сидел на диване и читал книгу.

— Ты же умер,— сказал я ему.

— Это было вчера,— сказал он просто.

ВИЗИТ

Я готовился к мудрой беседе с ученым. О! Это был великий ученый! Я нервничал не на шутку. Я много думал, как мне говорить и как отвечать на вопросы.

Он встретил меня у двери. Он крепко пожал мне руку. И, прямо взглянув в глаза, спросил:

— Вы не знаете, где муравей?

Я удивленно пожал плечами.

Дочка его, лет восьми, сказала:

— Он у тебя в шляпе, папочка.

— Я только что видел шляпу, там его нет.

— Ну, значит, мама взяла его с вилками, манной крупой, макаронами, ложками, чашками, кошками, мылом, банками и пузырьками.

— Я только что спрашивал маму, она не брала его.

— Ну, тогда он в коробке или в Москве.

— Наверяд ли...

— Ну, тогда он в тазу.

— В алюминиевом или в медном?

— Наверное, в медном.

— А может быть, в алюминиевом?

— Может быть, в алюминиевом.

— А может быть, он не там?

— Может быть, он не там.

— Тогда в другом месте.

— Значит, в другом.

— А если он в ухе?

— У кого?

— У мамы.

— Наверяд ли.

— А может быть, он в башмаке?

— Может быть.

— А может, он в бане?

— Все может быть.

— А вдруг он в сыре?

— Почему бы и нет?

— А вдруг он в Бомбее?

— Пожалуй...

— А вдруг он пропал...

— Очень жаль,— сказал отец.

Я хлопал глазами, но я не сказал ни слова. Великий ученый был мрачен. Как мне показалось, он был расстроен. Обратившись ко мне, он сказал:

— Право, вы на меня не сердитесь, но это очень серьезный вопрос...

НИКАКОГО КРЕСЛА ТАМ НЕ БЫЛО

(Рассказ маленького мальчика)

Мама послала меня на чердак, чтобы я повесил белье. Я вешал на чердаке белье, по крыше что-то стучало. Я смотрел в потолок и думал, что бы это могло там быть. В окне мелькнула кошка. Вслед за ней показалось чье-то лицо. Человек смотрел на меня. Он был очень худой и бледный, а глаза ужасно большие, как у бабушкиной иконы.

— Как дела? — спросил он и улыбнулся.

Он сразу понравился мне.

— Вы кто? — спросил я тихо.

— Я здесь живу, — сказал он.

Я не поверил, что он здесь живет. Кто же на чердаках живет. Он влез в окно.

— Стульев нет у меня, — сказал он, — вот плохо...

— Как вы стояли там, за окном? — спросил я.

— Фи! Чепуха. Как стоял? Очень просто стоял.

— А я смогу там стоять? — спросил я.

— Как сказать, — сказал он, — это трудно сказать...

— Я упаду?

— Может быть, упадешь.

— А как же вы?

— О, я давно здесь живу. У меня даже кресло здесь есть. Только дна нет в кресле. Но сидеть в нем можно. Если нет дна, тоже можно сидеть. Хотя хуже. С дном лучше. Ты не находишь?

— Нахожу, — сказал я.

— И я нахожу, — сказал он.

— А где это кресло?

— Кресло там, в темноте. Я отдыхаю в нем, как барон.

— Вы барон? — спросил я.

— Как сказать...

— А где вы спите?

— Я сплю... Здесь вот...

— А где ваша подушка?

— Я ее проглотил.

— Подушку? Ха-ха... Разве можно глотать подушки!

— А ты думал — нет?

— Ясно — нет.

— Фокусник я, понимаешь, циркач.

— Фокусник? А не врете? Ну-ка, съешьте сейчас подушку.

— Я ее уже съел.

— Я вам другую сейчас принесу.

Он удержал меня за рукав.

По лестнице кто-то шел. Кто-то шел на чердак.

— погоди,— сказал фокусник,— я сейчас.

Он исчез в окне.

Вошла моя мама.

— Что ты делаешь здесь? — закричала она.

— Ничего.

— Ты даже еще и белье не повесил!

— Мама,— сказал я,— здесь кресло есть.

— Какое еще такое кресло?

— Есть,— сказал я.

— Не болтай чепухи.

— Я не болтаю.

— Если б знал отец, что за сын у него! — сказала мама.

— А ты можешь стоять за окном? — спросил я.

— Пошел вон! — закричала мама.

Она, ругаясь, вешала белье, которое я не успел повесить.

Где-то рядом раздались выстрелы.

— В кого-то стреляют,— сказала мама.

Мы спустились домой.

Всю ночь я не мог заснуть.

Я встал рано утром, на цыпочках вышел на кухню, взял лампу, зажег ее и пошел на чердак.

Я прошел в дальний угол, туда, где должно быть кресло.

Никакого кресла там не было.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ

Я встал ночью с кровати выпить воды. Мне стало как-то не по себе. Словно в комнате кто-то есть, только прячется. Повернувшись к окну, я вскрикнул и, отскочив назад, налетел на стол и больно ушиб позвоночник. На подоконнике сидя спал мальчик Петя, соседкин девятилетний сын. Он спал, головой уткнувшись в колени. Я закричал во все горло:

— Петя, почему ты здесь спишь?!

В ответ только тикал будильник. Я прислонился к стене.

— Петя,— сказал я,— вставай...

Петя не просыпался.

— Вставай! — крикнул я.

Одним прыжком я у окна. Больно стукнулись пальцы о раму. Я стал шарить по подоконнику...

В дверь постучали.

— Кто там? — спросил я хрипло.

За дверью раздался Петин голос.

— Что тебе?

— Меня мама послала...

— Почему ты спал у меня на окне?

— Я не спал у вас на окне.

— Ты сидел на окне, Петя.

— Я не сидел на окне, я спал.

— Ну да, спал, черт возьми, а зачем ты там спал...

— Я не там спал, я дома спал. Вас мама ругает.

Она говорит, ей рано вставать.

— Ну и пусть встает, а я тут при чем?

— А вы не спите.

— Так что до этого твоей маме?

Зашлепали по коридору сандалии. Подошла к двери Петина мама.

— Что у вас там происходит? — спросила она.

— Простите... Ради бога, простите... В общем, что-то мне показалось... я, кажется, крикнул...

— Еще как крикнули, милый мой.

— Да, да, что-то вроде... Как будто... Теперь все в порядке...

— Последнее время вы часто кричите.

— Да...— сказал я,— да, да. Да, да, да...

— Вставать рано...— сказала Петина мама.

— Да, да,— сказал я.

— Пете в школу...— сказала Петина мама.

— Хороший мальчик ваш Петя.

— Вчера пятерку принес.

— Молодчина, Петя.

— Две пятерки принес,— сказал Петя.

— Две пятерки,— сказала Петина мама.— А ваш брат пишет?

— Сейчас что-то нет.

— Ну ничего, напишет...

— Беспокоюсь я.

— Ну что вы, это вы зря...

— Может быть.

— Поверьте мне.

— Спокойной ночи.

Зашлепали по коридору сандалии.

— Петька,— позвал я,— иди сюда...

Босые ноги вернулись к двери.

— Чего вам?

— Это правда, что ты не сидел на окне?

— А что мне там сидеть...

— Это верно... Что тебе на окне сидеть...

МАНДАРИНЫ

Луна сидела на крыше. Проспект пустел. Я останавливался у витрин. Витрины горели во тьме, как фарты. Они приковывали взгляд. Невольно я глядел на них.

Я разглядывал спорттовары. Много там всякой всячины: мячики и мячи, сетки и сеточки, горы свистков и скакалок, чехлы и шины, спицы, и обручи, и спортивные пистолеты.

Я подошел к фруктовой витрине. Меня привлекли мандарины. Вдруг за углом кто-то крикнул: «Эй!» Может, мне показалось? Все может быть. Но даже если кто и крикнул, то это не мне. Кто станет звать меня в такой час? Ну конечно же это не мне...

Мне захотелось вдруг мандаринов. Если бы магазин был открыт, я купил бы их штук десять. Даже больше. Я съел бы их даже двадцать. Как жаль, что закрыт магазин! Мандарины лежали горками. Я стал считать, сколько их в каждой горке, как вдруг кто-то шепнул мне на ухо: «Тррр...» Я обернулся сейчас же. «Тррр» — это бог знает что. Каждый бы обернулся, скажи ему в ухо: «Тррр...»

Если бы мне сказали не на ухо, я не подумал бы оборачиваться. Как поступили бы вы? Сказано было негромко, даже шепотом — дело вот в чем — сказано было в ухо.

Передо мной стоял человек. Я не успел разглядеть его. Я не знаю, стар он был или молод. Я не помню, как он был одет. Я помню только, что он улыбался. Он улыбался так мило, что... я улыбнулся тоже. Я его никогда не видел. Я встретил его впервые. Но улыбнулся ему невольно, — каждый бы улыбнулся ему. Он спросил меня:

— Репина знаешь?

Знал ли я Репина? Конечно, знал. Это известный русский художник.

Мне бы надо спросить у него, что ему надо и какое дело ему до того, что я знаю и чего не знаю. А я сказал:

— Знаю...

Он позвал меня за собой. Мы зашли за угол, в темноту. Он негромко спросил:

— Репин дома?

Признаться, я испугался. Я подумал, он сумасшедший. Репин не мог быть дома. Он давно умер. Он умер много лет тому назад.

Он мог укусить меня или стукнуть. Бежать? Он побежит за мной. Нельзя бежать. Я сжал кулак.

— Что надо?

— Репин дома? — спросил он опять.

«Точно, — решил я, волнуясь, — он псих». Боясь нападения с его стороны и не представляя, на что он способен, я сказал:

— Да, дома.

Повернувшись ко мне спиной, он свистнул. Я думал, меня будут грабить. Народу поблизости не было. Я хотел ударить его ногой, это было очень легко, но из темноты к нам шла тень с чем-то очень большим, как ящик, и я решил поглядеть, что будет. Бесспорно, меня не будут грабить. Зачем бы грабителю ящик?

Тень сказала:

— Бери и скачи...

Я разглядел лицо тени: у типа было щетинистое лицо. Глаза блестели во тьме. Он протягивал ящик мне.

— Бери и скачи, гоп-гоп, — добавил он раздраженно. Мой первый знакомый подтолкнул меня. Притом он тоже сказал:

— Скачи, милый, в сито...

Они говорили странно. Это показалось мне черт знает чем, я ничего не понял.

— Куда нести его? — спросил я про ящик.

Мои коленки чуть-чуть дрожали. Мне было страшно.

— В сито неси,— гаркнул детина и дал мне в лоб ладонью.

Я покачнулся. В голове у меня застучало. Чудом я не упал. Дрожащими руками держал я ящик. Я нес его как в бреду. Нес по темным улицам, тяжело дыша. Нес, оступаясь на каждом шагу. Я чуть не плакал. Куда я должен его нести? Я принес ящик домой. Положил в передней. Всю ночь я не мог уснуть. Заснул лишь под утро. Мне снились кошмары. Я открыл ящик к вечеру.

Ровными рядами, завернутые в тонкие бумажки, лежали в ящике мандарины.

НУ-КА ВСТАНЬ, МАЛЬЧИК!

Мальчик Митя был уже в таком возрасте, что вполне мог сказать слово «мама».

Мама Мите говорит:

— Скажи: «мама».

А он молчит.

Папа ему говорит:

— Скажи: «папа».

Так он тем более молчит. Он знал от взрослых, что это слово в самом раннем детстве обычно вторым произносится. И про себя думает: «Для того чтобы произнести хотя бы одно слово, нужно пошевелить языком. А вот как раз этого-то мне и неохота. Поесть мне все равно дадут, попить дадут, так что вполне можно ничего не делать!»

Надо отдать должное: в этом смысле он был очень

даже сообразительным, этот малыш. Он, как говорится, с колыбели понял, что его все равно будут кормить, если он даже и просить об этом не будет.

Он еще дальше пошел в своей сообразительности. Он мог предположить, что его переведут на самое усиленное питание. Он так рассуждал: «Родители подумают, будто я нездоров, раз так долго не могу произнести слово «мама», и будут меня всюю кормить разными вкусными вещами, чтобы я как можно скорее произнес это слово». И верно. Родители его всюю кормили, изо всех сил старались — такие порядочные, любящие своего ребенка отец и мать.

Митя тоже старался. Можно только позавидовать его блестящему аппетиту.

Однажды, дело было вечером, папа с мамой сидели за столом и пили чай с вареньем. А Митя смотрел из своей кровати на прекрасное варенье, ему вдруг захотелось чайку, и он вслух вздохнул.

— Эх, папаша, мамаша,— сказал он,— дали бы и мне чайку с вареньицем, ей-богу, очень хочется...

Он тут же испугался, что теперь ему и впредь придется шевелить языком, если родители услышали, но опять вслух сказал:

— Фу-ты, черт!..

Родители моментально повернули к нему свои головы. Надо себе представить, как они удивились! Мама выронила чашку с чаем, и чашка разбилась вдребезги. А папа бросился вон из комнаты и долго стоял на лестничной площадке, ничего не понимая. Он никак не мог вернуться в комнату от перенесенного удивления и страха. В конце концов он вернулся на цыпочках.

Родители подошли к Митиной кровати, а сын, не будь дурак, закрыл глаза, притворяясь спящим. Чтобы не подумали, чего доброго, будто именно он произнес эти четкие слова.

Родители только пожали плечами, посмотрели друг другу в глаза и моргнули по несколько раз. Они решили, что им показалось.

Дальше самое интересное! Папа с мамой куда-то вышли, а их сын Митя встал в своей кроватке, попрыгал на подушке, сделал стойку на руках. Это был на редкость здоровый, откормленный, крепкий ребенок.

Он вылез из кровати, пошел в другую комнату, снял трубку телефона, набрал номер и сказал:

— Алло! Как поживаешь, старик?

Писклявый голос ему ответил:

— Твоими молитвами, старик.

— Одними молитвами не проживешь,— сказал Митя.

— Боюсь сорваться,— сказал писклявый голос.

— А я уже сорвался,— сказал Митя.

— Да ну! — испуганно сказал писклявый голос.

— Но все пронесло,— сказал Митя.

— А я еще ни разу не срывался,— сказал писклявый голос.

— У тебя еще все впереди,— сказал Митя.

— Намного ли ты старше? — сказал обиженно писклявый голос.

— На два года, Василий,— сказал Митя.

— Можно подумать, что лет на двадцать,— сказал Василий.

— Твои допотопные не скоро явятся? — спросил Митя.

— Опасно,— сказал Василий.

— Ну, будь здоров, старик!

Митя так рассуждал: «Если я буду ходить при родителях, мне, чего доброго, придется самому на горшок ходить, мыть руки, еще, чего доброго, посуду мыть заставят, а то и того хуже, за чем-нибудь пошлют,— нет, лучше я все-таки полежу, не стоит этого делать. Раз никто не знает, что я ходить умею. А ес-

ли они меня будут ставить на ноги — я буду падать. Никто никогда в жизни не догадается, что я давно могу не только ходить, но и бегать».

Он вышел на балкон и стал смотреть на улицу. Его опять очаровал вид сверху, и он никак не мог уйти с балкона. Надо думать, он не впервые появлялся на балконе в отсутствие родителей.

Несмотря на свою сообразительность, он не рассчитал время.

Возвращаются родители и не находят сына на месте. Они в крайнем отчаянии носятся по комнате, заломив руки. И вдруг видят своего сынишку на балконе. Он удивительно крепко стоит на ногах, совершенно не держась за перила.

Отец с матерью чуть не свалились, увидев такое, но быстро смекнули, что первым может свалиться их сын, и поэтому остались на ногах, вернее, бросились к балкону.

Состояние у них в этот момент, конечно, было ужасное. Отец, например, закричал:

— Я тебя отдую!!!

А мама сказала:

— Что же это такое делается, а?!

И тут (вот что самое интересное) сын, совершенно забыв, что ему следует молчать как рыба (если он хочет есть и пить, не работая языком), вдруг крикнул:

— Ничего не делается, подумаешь, какая важность!

Надо опять-таки отдать ему должное, он тут же понял свою ошибку и закричал во всю глотку:

— Ничего я не говорил! Ничего я не говорил!

Но это только усугубило положение. Все-таки, безусловно, он не обладал хитростью взрослого человека. Пожалуй, это самое основное, чего ему не доставало в его изобретательности.

Что происходит с родителями после его слов? Известно что. Мать ложится в постель и тяжело дышит. Отец точно так же тяжело дышит и бежит к телефону.

И самое любопытное, что после всего этого их сын, сколько его ни ставили на ноги, тут же падал. И сколько его ни просили сказать слово «мама», он ни звука не произнес.

Он проявил удивительную твердость и принципиальность в этом отношении.

Приезжает доктор.

Мама к этому времени встает с постели, оправившись от потрясения, но вид у нее бледный. У сына же краснощекий вид, и он продолжает лежать в кровати, притворяясь, что спит.

— Его нужно разбудить, — говорит доктор.

— Ой, ай, ребенка будить, как же так, как жаль, обидно, невозможно, как же можно, — говорят родители.

Доктор говорит:

— Не могу же я приезжать второй раз, меня ждут другие больные. У меня времени в обрез.

Родители, вздыхая, говорят:

— Может быть, у вас есть хоть немножечко времени подождать, когда он проснется? (До чего же все-таки, заметьте, родители любят своего ребенка!)

Доктор говорит:

— У меня нет времени, я вам уже сказал. А чем, собственно, он болен? Глядя на вашего ребенка, не скажешь этого. Может быть, вы перепутали и у вас кто-нибудь другой болен?

Родители объясняют все поведение своего сына, и доктор хмурится. Как будто он не верит. В это время Мите надоело лежать с закрытыми глазами, тем более ему любопытно взглянуть на личность доктора, и он открывает один глаз.

Доктор сразу замечает это (на то он и доктор) и строго говорит:

— Ну-ка встань, мальчик!

От такого строгого голоса Митя, к удивлению своих родителей, встает во весь рост и твердым голосом заявляет:

— Я больше никогда не буду...

— Он просто валял дурака,— говорит доктор.

— Не может быть! — говорят родители.

— Быть все может,— говорит доктор и, возмущенный, уходит.

А родители остаются совершенно потрясенные.

Они никогда не ожидали от своего сына такого поступка. Ведь они так хорошо к нему относились!

А он?..

В ГОСТЯХ У СОСЕДА

Стою на лестничной площадке, схожу, думаю, к соседу, давно у него не был.

Звоню, вхожу, вижу: четыре разноцветных попугая ходят-бродят вокруг толстого сиамского кота. Кот большой, крупный, а один попугай чуть побольше кота, а три средние, ну как бы вам это объяснить... несуразные пропорции у птиц и кота. Кот, скажем, ну... с эрдельтерьера, а тогда можете представить, попугай каков. Кот желтый с черным, а попугаи всеми цветами радуги переливаются вокруг кота.

Ну, здравствуйте, здравствуйте. Узнаю, что четыре комнаты у него перегорожены на шестнадцать.

Стоим в одной из шестнадцати комнат. Кот с попугаем перешли сюда же.

Кот с птицами сидит, а мы стоим. Неохота сидеть. Толкаться. В другую комнату пошли, а те за нами. Кот с попугаями. Осматриваю в основном обои, во

всех шестнадцати комнатах обои совершенно разные.

— Мебель менять собираемся,— говорит хозяин,— но беда в том, что старую теперь отсюда не вытащить, а новую не втащить. Старую как бы замуровали, а для новой вход забаррикадировали...

— И как же теперь?

— Думаем. Ну а общее впечатление?

— Дай пива,— вдруг кот говорит.

Совершенно обалделый, спрашиваю кота:

— А ты-то каким образом разговариваешь?

А он лапой махнул:

— Да бывает, бывает, все бывает...— говорит.

— Жрет пиво ведрами,— хозяин говорит,— и попугаев пугает, как нажрется этого пива! Гоняет их по комнатам, довольно занятная картина, между прочим.

— Кто гоняет?

— Кот.

Вот это номера!

Хозяин говорит:

— Да что вы удивляетесь! Всею всю жизнь удивляетесь, чудак! Ведь есть кот в сапогах, кот на цепи у лукоморья, всех не перечесть.

— Нет, нет, простите... в сказках! Что вы меня-то путаете? Не удастся провести. Я не могу этого представить наяву и не буду.

— Можете не представлять. Факт налицо.

— Налицо.

Кот говорит:

— Да бывает, бывает, все бывает.

— Да не может этого быть!

Попугай говорит:

— Катись тогда отсюда, если не веришь!

Вот нахал!

— Не надо так с гостями,— говорит сосед.

— Да ну его...— попугай ему отвечает.

— Помолчи, Кокоша,— говорит сосед.

— Да заткнись ты, обормот,— попугай хозяину отвечает.

— Ладно, ладно...— Хозяин вроде бы его побаивался, что ли...

— Да что же это такое, братцы,— говорю,— что же это творится, происходит на моих глазах? Вы за кого меня считаете? Ведь не бывает такого и не может быть!

— Да вы не берите в голову,— хозяин говорит.

— Как это мне не брать?!

— Вы с этой птицей осторожно, дружище,— хозяин говорит,— с Кукошей лучше не деритесь. Знаю я вашу манеру драться по каждому пустяку. Всегда и всюду лезете на рожон, если чего не поймете.

— Да, может, это и не птица,— говорю,— а черт знает что...

— Смотри мне! — говорит Кукоша.

— Да я этому вашему Кукоше свистну по загревку, чтобы он заткнулся, идиот. Птица, предположим, а ведет себя как человек, и нахально, главное!

В это время этот паршивец Кукоша подлетает и с размаху бьет меня клювом под дых. Я присел. Не упал. Больно бьет. То есть клюет. Разворачиваюсь и правым хуком ему по морде. Он выпорхнул. Вот гад! Смеется. А я взвыл. Об стенку кулаком!

Хозяин говорит:

— Да оставь ты его. Ну его! Он какаду...

На «ты» вдруг перешел.

— Ну и что,— говорю,— подумаешь, какаду! Велика важность! Что же это выходит, он мне должен под дых давать? Да, может, он и не какаду вовсе, ростом с меня...

— А ты не оскорбляй.— И хозяин с какаду смеются.

— Ну компашка собралась! — я возмущаюсь.— Нашли друг друга, нечего сказать!

— Тебе не нравится? — спрашивает хозяин.

— Кому это может нравиться — получать поддых?!

— Да я не об этом, — говорит хозяин, — в общем-то тебе как? Нравится?

— А что тут может нравиться? Не пойму...

— В общих-то чертах?

— В общих-то? Да не могу понять, нравится или не нравится, потому что непонятно.

— Да бывает, бывает, — твердит кот.

— И потом, — говорю, — если уж все это бывает, как утверждает ваш котяра, то еще мне непонятно: нужно все это или не нужно? С одной стороны, любопытно, интересно. Но с другой — хлопотно. Живность странная. И лабиринт...

— Цифра «шестнадцать» приводит в восторг моих сослуживцев, — сказал хозяин.

— Какая цифра? — не понял я.

— Шестнадцать комнат.

— Да какие же это комнаты, где повернуться невозможно. Камеры самые настоящие, если уж на то пошло.

— А цифра?

— Да хрен с ней, с цифрой. Пустое число. Абстрактное понятие.

— А я искусствовед-абстракционист, — говорит хозяин.

— Мы — абстракционисты!!! — неожиданно заорали все попугаи и кот.

— Но вы ведь кандидат наук.

— Бывает, бывает... — сказал кот.

— А где вы гостей принимаете? — спросил я.

— В ресторане. Я современный человек.

Мы прошли в шестнадцатую комнату.

Хозяин быстро вышел, и вся разношерстная компания помчалась за ним вприпрыжку. А я остался.

— Ау! — заорал хозяин откуда-то издалека.

— Ау! — ответил я как идиот.

— Слышно?

Я не ответил. Ну его к чертям. Пусть сам забавляется со своими попугаями и котом. Не хочу я участвовать в его нелепых играх.

— Ау! Иди сюда! — заорал он откуда-то, уж совсем издалека.

— Иду! — ответил я.

Я пошел ему навстречу, — надоело там торчать, — но тут же пришел на то же самое место.

— Выбирайся! Выбирайся! — заорал он радостно. — Это все специально придумано!

— Не могу! — крикнул я.

— Вот видишь? — вопил он. — Ну каково?

— Выведите меня отсюда сейчас же!

Он хохотал со своими пернатыми, со своим котом.

— В какую сторону мне идти? — орал я.

— В какую хочешь! У нас в этом смысле полная свобода!

— Вы меня сюда привели, вы меня отсюда и выводите!

— Ты сам ко мне пришел, — хохотал он вместе со своей живностью.

Послышался звонок. И тоже вдалеке. И женский голос:

— Прекратите безобразие, что я говорю!

Жена. Узнал голос. Она-то наведет сейчас порядок. И выведет меня отсюда.

— Выпустите меня отсюда, Мария Николаевна!

— Иду, иду! — ответила она, и вся честная компания, видимо, двинулась, похохатывая, за ней.

— Ну вот и мы! — сказал паршивец какаду.

И тут я ему врезал. На этот раз он увернуться не успел.

— Ууу!!! — завопил он. — Ооо!!! Мне больно... саданул как... Ааа!!

— А ты не лезь к гостям, — сказал хозяин.

— Вот именно, — сказал я, свыкшись, что он все понимает, как человек. — А вам, Константин Пантелеймонович, не к лицу...

— Да я же пошутил, ну? Эх, и пошутить нельзя! Какаду хныкал. Кот твердил, что все бывает.

— За такие шутки, Константин Пантелеймонович... приплюсовав сюда вашего какаду...

— Правильно, правильно, Петр Петрович, так его! — поддержала хозяйка. — Он совсем распустился, на докторскую подал. Что ж вы нас давно не посещали, что-нибудь у вас случилось?

— Ничего не случилось, — сказал я, — ровным счетом ничего не произошло, работаю на старом месте, десятый ребенок у меня родился, вот только свинкой приболел.

— Ребенок приболел?

— Нет, я.

— Бывает, все бывает, — сказал кот.

— А как вам у нас нравится? — спросила хозяйка. — А на мужа я прошу вас не сердиться. Весь этот лабиринт устроен специально для воров. Над этим долго думали. Вот вор вошел. Представим. Но... обратно ему уже отсюда ни за что не выбраться. Хитроумная комбинация расположения комнат. Вы меня поняли?

— Ну я-то тут при чем?

Она уже не могла остановиться.

— Вор не только находится в постоянном страхе, что не может оттуда выйти, но он действительно не может выйти. Остроумно? Какаду летают над ним, и ему кажется, что это летучие мыши. Кукошка, если он начинает искать выход, бац его клювом, а? А Митрофан...

— Кошмар,— сказал я,— это действительно кошмар.

— Для вора,— посчитала нужным добавить она.

— Но этот кретин,— сказал я,— тем не менее...

— Какой кретин? — не дав мне договорить, она прямо-таки уничтожающим взглядом посмотрела на своего мужа.

— Мерзавец какаду,— сказал я.

Нет, она уже никак не могла остановиться.

— ...А вы не находите, что у нас в комнатах все-таки немного тесновато? И не много ли дверей, а? Двадцать две. Не многовато? Двадцать две на такую квартиру, сами понимаете...

Откуда я мог знать, сколько полагается дверей на такую квартиру?

Я сказал:

— У вас очень просторно, как нигде, а дверей столько, сколько нужно в данном случае.

— По-честному, давайте по-честному. Сколько бы вы поставили дверей?

— Точно столько же, сколько у вас.

— Ну вот, видишь!— На этот раз она совершенно презрительно посмотрела на своего мужа.

— Я все-таки считаю,— сказал муж,— что одной двери могло бы и не быть.

— Я этого не заметил,— сказал я с видом абсолютного знатока дверей.

— Помолчал бы ты уж, Константин,— сказала хозяйка,— а вы знаете, мы хотим еще кухню перегородить.

— А кухню зачем?

— Вторую плиту поставить.

— А... зачем?

— Они сами по себе — мы сами по себе.

— Кто — они?

— Какаду и Митрофан.

— А зачем им быть самим по себе?

— Видите ли, Петр Петрович, как вам это пояснить, у них свои наклонности — у нас свои, с ростом у них проявляются индивидуальности, а мы, сами понимаете, в возрасте другом. У них развились вкусы, Митрофан сам готовит, никому не позволяет, и создается толчея у плиты...

— Толчея у плиты,— повторил я, чтобы что-нибудь сказать.

— Вот вы меня сразу поняли, а для хозяйки, согласитесь сами...

Я закивал головой в знак согласия.

— Нет, вы действительно согласны? А он...— И теперь она уже каким-то третьим взглядом посмотрела на своего мужа.

— Ну, если Митрофану это необходимо...— Я почувствовал, что говорю серьезно и ввязался в разговор потрясающе дурацкий.

— Ну, если вы мне не верите, пусть он вам сам скажет.

— Я люблю одно, а она любит другое,— сказал Митрофан.

— Ну вот, видите! Иногда он мне помогает, но сейчас характер у него резко изменился... в сторону эгоизма.

Кот сказал:

— Врет она.

— Ну вот видите, как он со мной стал разговаривать! Раньше этого не было.

— Да не слушайте вы ее,— сказал кот,— вечно врет.

— Ну вот видите, видите, ремизить так свою хозяйку... Ах, Митрофаша, Митрофаша... Вы не поверите, мы его назвали в честь этого самого Митрофана, кота из литературы... Ну как фамилия этого писателя?..

— Какого вы имеете в виду?

— Ну, этот... с бородой.

— Хемингуэй, что ли?

— Другой...

— Молодой или старый?

— Вроде совсем средний.

— Плохой писатель, что ли?

— Да мы не знаем...— призналась хозяйка,— нам просто сказали, вот и все. Тот, который про недоросль написал. Ну бог с ним.

— А кто вас надоумил комнаты так перегородить? — спросил я.

— Один знакомый архитектор с очень оригинальным мышлением, между прочим, он советует увеличить сумму вдвое.

— Да не сумму, а цифру,— поправил муж.

— Какую цифру? — спросил я обалдело. Теперь уже я почувствовал, что меня начинает уносить от берега в пустынный океан. Я плыть уже не мог. Стал уставать. Тонуть. Голова моя стала уставать самым серьезнейшим образом. Уходить в середине разговора было неудобно, и я решил: что будет — то и будет.

— Утвердить тридцать две,— услышал я.

— Как то есть утвердить?

— Ну, это он так выражается, оригинальный во всем человек.

— Кто — он?

— Да архитектор, боже мой, как вы не поймете.

— Ну?

— До него доходит, как до жирафа,— сказал какаду.

«Сволочь», — подумал я.

— Перестань,— сказала хозяйка,— так вот... он нам посоветовал разделить каждую комнату еще на половину, чтобы было тридцать две комнаты,— теперь то вы, надеюсь, понимаете?

Я ужаснулся:

— Это он вам серьезно советовал?!

— Бывает, бывает,— сказал кот.

— А вы не советуете? — встревожилась хозяйка.

— Я, знаете ли... просто... удивлен... архитектор вам такое посоветовал... а может быть, он не архитектор вовсе?..

— Как это не архитектор?! — возмутилась хозяйка.— Он и коту имя дал!

— Коту-то ладно...

— Так вы говорите, говорите, не стесняйтесь, мы любим прямо, а вы любите прямо говорить, нам вовсе не безразлично мнение общественности.

— Какая уж я-то общественность...— Теперь мне уже показалось, что меня уносит в дебри, я очень впечатлительный человек, с воображением. Ни разу в жизни я не представлял общественности, вероятно, это плохо, но почему они тогда принимают меня совершенно не за того человека. Слегка мне стало страшно, и я ощутил нереальность обстановки, что ли, сюрреализм наяву... Покосился на кота. Он мне подмигивал. Какаду Кокоша, как мне показалось, готовился к прыжку...

— Уберите этого типа...— сказал я.

— Какого типа?

— Вашего мрачного какаду, в конце концов! Если он говорит по-человечески, дерется, как заправский боксер, то можно ведь его назвать типом?

— Ах, вы про Кокошу! Да бросьте о нем думать. Если его как следует стукнуть, он больше не бросается. Вы очень верно в самом начале поступили. Саданите его еще раз крепко по башке, и он утихомирится.

— Гады...— процедил Кокоша.

— Между прочим, он любимец мужа,— сказала хозяйка,— часто с ним тренируется на кулачках, и вот результат: в области солнечного сплетения у мужа

частенько побаливает, и постоянно требуется врачебное вмешательство.

— Но вы-то почему разрешаете мужу такие вещи? — вырвалось у меня.

— А что я могу сделать? Мужчины знаете какие... Говоришь ему, говоришь, а он свое... И потом, ведь не могу я уследить: в магазин, парикмахерскую нужно сходить. А дома попробуй найди их, в какую комнату они отправились драться на кулачках.

— Ну и подлец,— сказал я.

— Кто, я? — удивился хозяин.

— Да нет, этот ваш Кукоша.

— Бывает, бывает...— зевнул кот.

— Не намекай,— сказал коту хозяин. На что он намекал, мне было уже совсем не разобратся.

— Нет, все-таки ума не приложу,— сказал я,— мне это кажется более чем странным... Вся эта ситуация... вы простите меня... не могу понять!

— А чего тут понимать? — сказала хозяйка.— Хочешь — дерись с какаду, не хочешь — не дерись, поступай как хочешь, муж сам виноват в данном случае. Он сам его научил этому прыжку, или, как у вас это называется, апперкоту...

Я встал уходить.

— Погодите, может быть, чайку? — сказала хозяйка.

— А где вы пьете чай, в какой комнате? — поинтересовался я.

— Каждый пьет чай в той комнате, в какой захочет. На этот счет у нас тоже полная свобода выбора.

— По отдельности, что ли, пьете?

— Он в одной комнате, я в другой.

— Зачем?

— Тесновато, я же вам говорила. Со столом и стулом может поместиться только один человек в одной комнате.

— А как же мы все втроем одновременно будем пить чай?

— В кухне. Поэтому я и сомневаюсь, стоит ли кухню перегораживать или не стоит. С одной стороны, Митрофану будет удобно, с другой стороны, мы не сможем втроем с соседом пить чай. Но можно каждому пить чай в отдельной комнате, согласитесь, что это шикарно.

— Да, но... каждому пить чай в отдельной комнате скучновато... невозможно побеседовать...

— Почему невозможно? Через перегородку слышно почти точно так же. Говорите себе через перегородку, а мы вам через ту же самую перегородку будем отвечать.

— А если я в третьей комнате, значит, я через две перегородки должен разговаривать?

— Для этого я и убежал, оставил вас в той комнате, чтобы вы поняли, что слышимость прекрасная, и если бы перегородки не были обиты рубероидом, звукопроницаемость могла бы быть еще лучше.

— Но зачем же вы тогда обивали рубероидом? Им кроют крыши.

— Только дураки им кроют крыши,— улыбнулся хозяин,— насчет рубероида я могу прочесть вам лекцию.

— Не надо,— испугался я.

— Рубероидом крыть надо стены. И знаете почему?

— Не знаю,— сказал я, чуть не упав со стула.

— Во-первых, обои на них ложатся, как масло на хлеб, и потом, вы заметили деликатную пупырчатость?

— Где? Когда?

— Ну когда мы с вами ходили по комнатам, вы ничего не заметили?

— А чего я должен был заметить?

— Пупырчатость.

— Этот ваш какаду...

— Да оставьте вы его. Пойдемте, покажу. Обоим слегка пупырчатые. И это очень модно и оригинально.

— Верю! — сказал я так неестественно громко, что какаду решил, я собираюсь на него нападать, и вскочил на подоконник.

— Спрячьте вы эту мерзкую птицу, — сказал я уже в который раз. — Да... и потом... — Нить разговора оборвалась и снова вернулась в мою затуманенную башку. — Если беседовать через перегородку и не видеть собеседника, не кажется ли вам...

— Обедняет беседу, вы хотите сказать? Откройте двери, господи! Частенько мы с мужем сидим друг против друга и пьем чай у раскрытых дверей. Прекрасно себя чувствуем. Можете проверить, мы надеемся, что вам наш метод чаепития понравится и вы назовете его оригинальным.

— Давай пить пиво, — сказал кот.

— А вы хотите пива? — спросила хозяйка.

Я сразу оживился. Кот начинал мне нравиться. Да, только пиво, одного только пива хотелось мне, а не чая.

— Мужу запретили, — сказала хозяйка, — пока еще не выяснено, может быть, это дело не какаду.

— Какое дело?

— Врачи ведь тоже не боги, вы это прекрасно знаете, так вот, они подразумевают у мужа в области солнечного сплетения нарыв от пива.

Опять бред. Или они не хотят меня пивом угощать, чтобы у меня тоже не было нарыва? Неужели таким оригинальным способом они уклоняются от угощения? Можно всего ожидать.

— Так что какаду тут вовсе ни при чем, — закончила хозяйка.

— Понятно, — сказал я.

Намек, решил я. Ну и ну! Да так оно и было, может быть. А может, нет. Вклинился кот.

— Быстрее давай пива,— сказал он.

Хозяйка сказала:

— Можете пить с котом.

— Давай выпьем,— сказал кот.

С котом — так с котом.

Сели в кухне, пока ее не перегородили.

— Кстати, вы не можете нам кошку достать,— сказала хозяйка,— может быть, найдется где-нибудь симпатичная кошечка для нашего Митрофана?

— Да такому коту откуда я могу достать соответствующую кошку, вы смеетесь!

— Да любую кошку, господи, чтобы пивом не увлекался.

— Хватит болтать, старая рухлядь,— сказал кот,— давай пива, а кошку я себе достану, если будет надо.

— Мерзавец! — вдруг выпалила хозяйка. Я даже сразу не понял, к кому это относится. Кто мерзавец?! Я подскочил на стуле, и хозяйка это заметила: — Муж меня так не оскорбляет, как этот мерзавец.

К коту у меня уже появилась твердая симпатия. Мы нашли с ним общее. Пиво сблизило нас, и я встал на котовскую защиту. И кот это почувствовал.

— Скажи этой рухляди,— сказал он,— пусть тащит пиво и помалкивает.

— Да принеси ты пиво наконец,— сказал хозяин.

— Действительно, принесите пива,— сказал я,— и мы с Митрофаном выпьем с удовольствием.

— И рыбу там, пожалуйста, не зажимай,— хихикнул кот.

— Вы видите, вы видите, как он разговаривает...— она опять хотела его обозвать, но вовремя остановилась, потому что кот, к моему удивлению, брякнул:

— Тащи, а то худо будет.

— Тащите, тащите,— осмелел я.

Из громадного холодильника хозяева вытащили кишку, и хозяин стал дуть в нее. Подставили ведро. Полилось в ведро пиво из кишки. Кот замурлыкал.

— У нас договоренность с пивным ларьком. Мы платим вперед. Провели трубу через сад в наш холодильник, и все дела.

«Вот это, пожалуй, самое оригинальное», — подумал я.

— Сам кот боится открыть холодильник, — сказал хозяин, — оттуда веет холодом, а он терпеть его не может.

По первой кружке мы с котом выпили сразу.

Я поинтересовался:

— Только что кот пригрозил, что вам может быть худо. А что он может конкретно вам сделать худого?

— Он? Все может, — сказала хозяйка.

Кот выпил вторую кружку, вытер усы и отчетливо предупредил:

— Я могу уйти к соседям и наговорить на вас такое, что вы света белого не увидите.

— Знаем, знаем, — согласились хозяева.

На четвертой кружке мы стали друг друга похлопывать.

— А ты говоришь, — сказал кот. — Все бывает...

— Так перегораживать нам или нет?

Этот вопрос хозяйку больше всего интересовал.

— Перегораживайте, — сказал я весело, — все перегораживайте!

— Вы серьезно?

— Абсолютно серьезно! Продолжайте перегораживать и перегораживать!

— Вы думаете, из тридцати двух можно сделать шестьдесят четыре?

— Можно.

— Представляешь, — обратилась хозяйка к мужу, — какой тогда удар будет по всем?

— Атомный удар,— сказал я.

— Вы очень образно выразились,— обрадовалась хозяйка,— ведь действительно это будет самое настоящее светопреставление. Спросят: «Сколько у вас комнат?» — «Шестьдесят четыре!» — «Ну!»

— Шестьдесят четыре можно помножить,— сказал я, захмелев.

— На сколько помножить? — заволновалась хозяйка.

— На сколько хотите, на столько и помножайте.

— Ну, это уж вы хватили...

— Чего хватил, ничего не хватил, наливайте второе ведро, я вам объясню, как это делается.

Налили второе ведро.

— Ничего ты им не объясняй,— сказал кот,— они тупицы. Пей, и все.

— Сколько бедер в день ты выпиваешь? — спросил я кота.

— Как когда,— сказал он уклончиво.

Какаду Кокоша сидел насупившись в углу.

Три других попугая отправились шастать по комнатам. Оказалось, они не терпят запаха пива. Когда кот пьет, все это время они бродят по лабиринту, чертыхаясь. Вот и сейчас.

— Черт-те что... это черт-те что... просто черт-те что...

— Так на сколько все-таки помножить? — попыталась хозяйка.

— Чего помножить? — Я уже забыл.

— Но вы-то сами чего хотели помножить, помните?

— Я хотел? Когда?

— Ну вот только что, недавно, вы собирались помножить, доказывая нам, что это возможно. Помните чего? — спрашивала она таинственным голосом.

— А вам зачем? — Я никак не мог вспомнить, что я собирался помножить.

— Держи рыбу,— хрипел кот,— чисть сам.— Он стал вдруг потрясающе хрипеть.

— Может, тебе хватит, дорогуша? — спрашивали его хозяева.— Когда он начинает хрипеть — это первый признак, что ему хватит,— объясняли хозяева.

— Не ваше дело,— отбивался кот.— Вы-то откуда знаете, сколько мне надо, если сами никогда не пили?

— А мне, пожалуй, хватит,— сказал я.

— Да брось ты,— уговаривал Митрофан,— знаешь, как одному скучно? Ты ко мне заходи, когда их нету, и открой мне только холодильник, а там я разберусь.

— Не смей этого делать в наше отсутствие! — заволновались хозяева.— Мы за это пиво уйму денег платим.

— Смотрите мне! — пригрозил он хозяевам.

— Ну, я пошел,— сказал я.— Все. Хватит. Я пошел.

— Да сиди ты, сиди,— удерживал меня Митрофан когтями за рукав.

— Нет, хватит,— повторял я.— Все. Ну, кружечку еще... И баста. И конец. Все, все...

— Сиди ты! — хрипел Митрофан.

Я сидел.

И обстановка вокруг теперь мне уже не казалась странной и необыкновенной. Только изредка насупленный Кокоша меня настораживал, и я давал ему понять, что в случае чего могу его и кружкой садануть. Он дергался. Косил глаза. Пробормотал:

— Ну погоди...

— Уберите этого пингвина отсюда,— сказал я,— клянусь, совершенно за себя не ручаюсь.

— Давай бить посуду о его голову,— предложил Митрофан.

Кокоша раздраженно, переваливаясь с боку на бок, отправился к своим собратьям. Буркнул:

— Погоди.

Я не выдержал и запустил в него рыбьей головой. Митрофан захохотал.

Хозяева сказали:

— Ну, Петр Петрович, мы этого от вас не ожидали. простите за откровенность.

— Ах да, что же это я в чужом доме кидаюсь рыбьими головами, пардон, мерси, не имею обыкновения... никак не имел права... извините, извините... извините... не сочтите.

Я долго извинялся.

Целый час я прощался и тряс руки хозяевам в коридоре.

Исчез в лабиринте и тряс там руки Кокосхе и трем попугаям.

И снова я на лестничной площадке.

Как хорошо-то! Светло. Нету штор. Лабиринта. И совершенно нормальный кот шмыгнул за кошкой.

И пиво пей в ларьке на доброе здоровье, без говорящих какаду.

МЫ БЕСПОКОИМСЯ ЗА ПАПУ В 2000 ГОДУ

Папа пошел выпить пива на Марс и что-то там задержался. В это время случилось несчастье. Пес Тузик съел небо, которое постирала мама и вывесила сушиться на гвоздь. Пес Тузик надулся, как детский шарик, и захотел улететь. Но он не смог этого сделать, потому что не было неба.

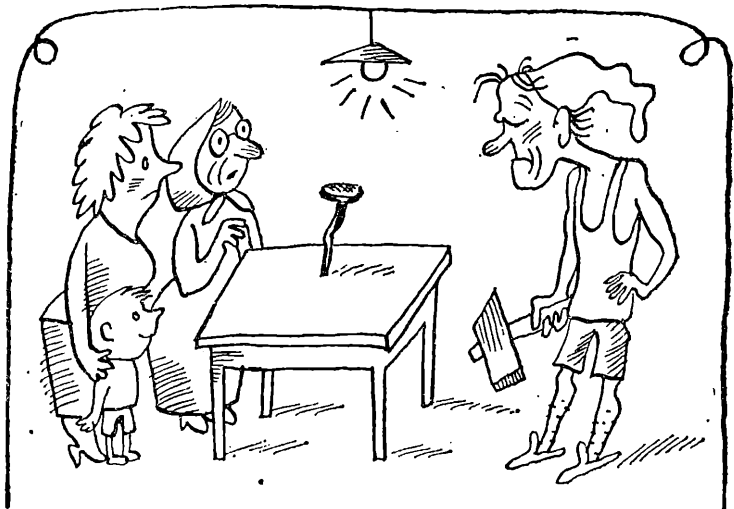
— Как же вернется наш папа,— сказала мама,— раз неба нет?..

— Действительно, как он вернется? — сказал я.

— Ха-ха-ха-ха! — сказал папа в дверях.— Ха-ха!

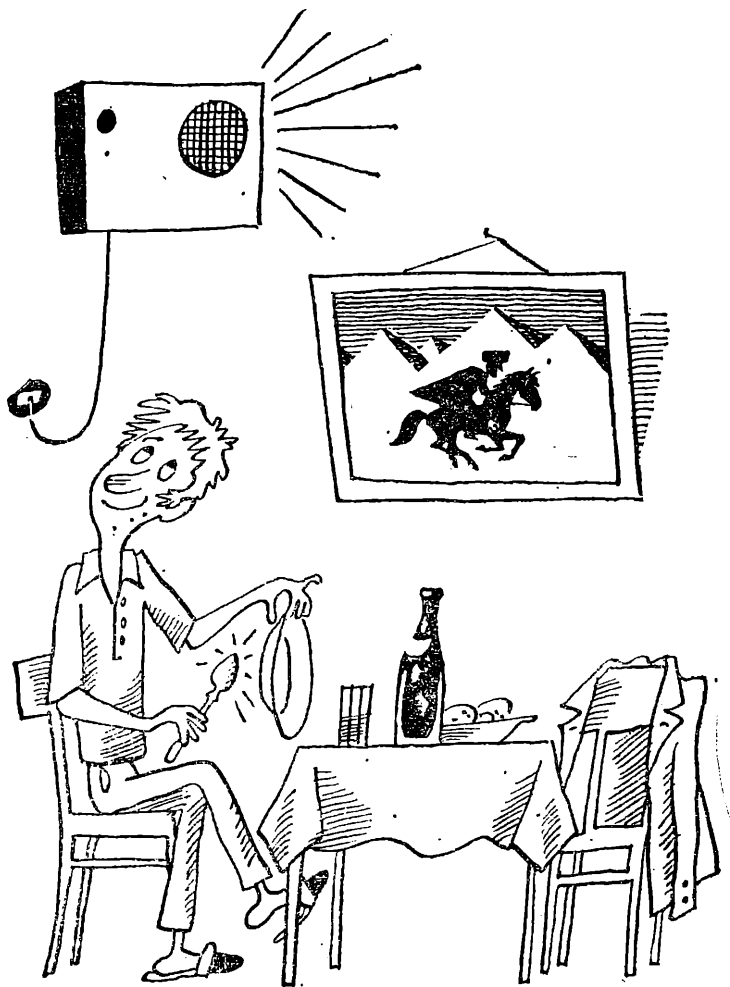
— Какой дорогой вернулся ты? — удивилась мама.

— Ха-ха-ха! — сказал папа.— Я пьяный, я не знаю, какой дорогой.



«СКАЧКИ В ГОРАХ»





«СКАЧКИ В ГОРАХ»

Один решил, что он композитор. Он не знал даже нот, никогда ни на чем не играл и вообще о музыке не имел понятия.

Он садился возле окна и отстукивал по стеклу мелодии. Но тотчас же их забывал.

Одну мелодию он запомнил, назвав ее «Скачки в горах».

Он напевал ее ежеминутно, был о ней очень высокого мнения и ею гордился.

Он стал отыскивать тех, кто знал ноты, и просил ее записать. Но никто не хотел его слушать, и все смеялись.

«Они завидуют мне», — думал он.

И вдруг он мелодию эту забыл. Это случилось так внезапно, что он растерялся.

Сколько он ни стучал по стеклу, ни мурлыкал под нос, ни бил по тарелке ложкой — он ничего не мог вспомнить. Он стал приставать к тем людям, которым ее напевал. Но они ее тоже забыли.

Мелодия совершенно исчезла. А когда он совсем уже приуныл и всякую потерял надежду, мелодия возвратилась.

Ее передавали по радио в очень известном романсе. Сочинил эту вещь композитор, умерший сто лет назад. И название было другое. Вовсе не «Скачки в горах».

ВСЕ БУДЕТ НЕПЛОХО

Один парень дал телеграмму, чтобы девушка встретила его в Тамбове. Он ехал проездом через Тамбов. Парень думал, как встретит ее, и волновался. Но когда подъезжали к Тамбову, он выпил пива и все забыл. То есть он забыл, что его должна девушка встретить. И он ушел в другой вагон с кем-то выпить чего-то еще. А в это время как раз Тамбов, и девушка бегает по вагонам и спрашивает всех про парня — где он, куда делся, и даже плачет.

Ну, постоял поезд в Тамбове и дальше пошел, а парень тотчас же вернулся в вагон, а девушки уже нет, конечно. И тут парень вспомнил про девушку.

— Где она? — гсворит.

Все стали его ругать и судачить по поводу девушки и его. Эх ты, говорят, ух ты, как же так, и другое.

Парень схватился руками за голову и так сидит и молчит. Горюет. Тут кто-то сказал ему про телеграмму. Хотя чтобы девушка перестала плакать. Чтоб успокоить ее.

И на станции парень послал телеграмму. Он послал телеграмму такую:

«Я ничего. Ты ничего. Все будет неплохо».

В вагоне стали его ругать. Что он не ту телеграмму послал и что надо еще телеграмму послать, лучше и попонятней.

Он послал еще телеграмму. Он послал телеграмму такую:

«Ну, жалко вышло, ох...»

В вагоне опять его все ругают, что он не ту телеграмму послал и вообще он странные телеграммы шлет в его зрелые годы.

— Да нет, — говорит, — я волновался и слал всё не те телеграммы. Но теперь pošлю ту телеграмму. И успокою ее.

И он послал телеграмму такую:

«Пил пиво, и вот...»

На него опять все напали. Чтоб он другую послал телеграмму. Попроще. Чтоб он объяснил, что он был в вагоне, но в этот момент его просто там не было. И пусть она не горюет.

На остановке он снова сошел и в вагон не вернулся. Наверно, выпил на станции пива и забыл, что он должен дальше ехать. А может быть, сел на встречный поезд и поехал к девушке извиняться. Или он приехал на место и дальше ехать ему не нужно.

Только он чемодан забыл — вот что плохо.

ГВОЗДЬ В СТОЛЕ

Мой отец пил водку, повторяя при этом, что дело не в этом. Почувствовав себя бодрым, он лихорадочно искал гвоздь, чтобы вбить его основательно в стенку, в стул или в дверь для пользы хозяйству в доме. Он мог с одного удара всадить гвоздь куда угодно. На этот раз он притащил в дом огромный гвоздь и, пошатываясь, прикидывал, глядя вокруг, где бы его пристроить. Этот гвоздь был в полметра длиной. Такого гвоздя я в жизни не видывал!

Отец стоял посреди комнаты с молотком в руке и гвоздем в зубах, повторяя сквозь зубы, что дело не в этом, в ответ на наши расспросы, куда он собирается его вбить. Он долго стоял так, насупив брови, пока мудрая мысль не пришла ему в голову. Он вдруг просиял, взял гвоздь в руки, попросил снять скатерть со стола и великолепным ударом загнал часть гвоздя в середину стола. Он имел в виду укрепить центральную ножку, которую он прибавил к столу год назад. Он уверял тогда, что стол шатался, хотя никто этого не замечал. Эта пятая ножка в столе была так же нужна,

как шестая, но отец укреплял хозяйство, и никто не посмел спорить с ним. И так, четверть гвоздя вошла в стол моментально, но дальше, как отец ни старался, гвоздь продолжал упорствовать. Сколько отец ни бил по гвоздю, он все так же торчал посреди стола, приводя всех в уныние и досаду. Отец разделся, остался в одних трусах, натянул на голову мамин чулок, чтобы волосы не мешали ему работать, и опять принялся колотить по гвоздю, но тщетно!

Отец вытер пот, оглядел меня, мать, бабушку и сказал:

— Я устал...

— Так что же делать? — спросила мама.

— Нужно вбить этот гвоздь, — сказал отец.

— И я так думаю.

— Но дело не в этом.

— Тогда его лучше вытащить.

— Его лучше вытащить, — согласился отец.

Я принес клещи. Отец тянул гвоздь клещами, согнул его, но гвоздь остался в столе. Потом я стал тащить этот гвоздь, но только больше согнул его.

— Теперь на стол нельзя постлать скатерть, — промолвила мама.

— Мы что-нибудь придумаем, — сказал отец.

Он сидел и думал, а мы смотрели на него и на гвоздь в столе. Наконец отец встал и сказал:

— Принесите напильник.

Я пошел за напильником, но не нашел его.

— Ну и дом! — сказал мой отец. — Ну и дом! Во всем доме нету напильника?!

Он сел на стул. У него был растерянный вид. Он тер кулаком свою голову. Видно было, что хмель проходил. Голова у него прояснялась.

— Черт с ним, с гвоздем...

В это время к нам позвонили. Я побежал открыть дверь.

Пришла семья Дариков. В дверь с шумом ворвались шесть братьев дошкольного возраста. За ними гордо вкатились родители. Шесть братьев стали носиться по комнате, опрокинули стулья, разбили стекло в уборной, сдули с рояля все ноты, повыдирали цветы из горшков и вытащили в два счета гвоздь, который вбил отец.

Когда удалось собрать братьев в кучу, загнать их в угол и успокоить, мать с радостью объявила всем:

— Теперь я могу постлать скатерть на стол.

— Но дело не в этом,— сказал отец.

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК В ЛЮБОМ ДЕЛЕ УСТАНЕТ

Я начал икать ни с того ни с сего. Мама дала мне воды — я все икаю. Мама дала помидор — я все икаю. — Ой,— кричит мама,— ой, что с ним будет?

Я в ответ только икаю.

Пришел папин знакомый. Папа к нему:

— С нашим Микой горе. Он уже второй час икает. Помогите нам, пожалуйста, в этом деле.

— С удовольствием,— говорит,— помогу. Что мне делать?

И снимает пиджак.

Что, думаю, он со мной собирается делать? И я на всякий случай встал у двери. Но он ничего не хотел со мной делать. Он просто так снял пиджак, ему, наверное, было жарко. Он повесил пиджак и говорит:

— Может, вы напугали его? И на этой почве он стал икать? И с перепугу не может понять, в чем дело?

— Вот еще,— говорит папа,— он ведь наш сын, а не посторонний. С чего бы мы стали его пугать?

Знакомый спрашивает меня:

— Ты чувствуешь, отчего ты икаешь? Или ты просто так икаешь? Не знаешь сам, отчего икаешь?

Я ответил ему сплошным иканьем.

Знакомый послушал и говорит:

— Икает он совершенно нормально. И не нужно ему мешать: пусть он икает, пока не устанет.

Тут я икать перестал.

— Вот видите,— говорит знакомый,— он устал. Я говорил, что он непременно устанет. Любой человек в любом деле устанет.

ЛИРИЧЕСКОЕ ПИСЬМО

Вот какое письмо написал один очень влюбленный:

«Дорогая моя, родная!

Я пишу вам это письмо.

Вы помните тот теплый вечер? Мы пели «Летят утки и два гуся».

Несмотря на то что мы петь не можем, мы все же пели у входа в ваш дом. Мы встретимся с вами и вместе споем. Поете ли вы сейчас? Я не пою с тех пор, как не вижу вас. Я ни разу не пел. Но если я вас увижу, я спою с вами ту же самую песню.

Это чудесная песня, и мы ее с вами споем. Но если не будет у нас желания или еще что-нибудь такое, мы не будем петь эту песню или какую-нибудь другую. Мы вообще не будем петь. Но хотелось бы.

Потому что я помню, как мы с вами пели, и хотел бы спеть еще. Песня — это великая сила, и мы непременно с вами споем. Как вы находите это дело?

*Думающий о вас
и тоскующий Леопольд».*

ФУ-ТЫ... ФУ-ТЫ...

Вот что случилось однажды.

Я пришел тогда в удивление. Может, в этом нет ничего такого, но как бы не так. Как сейчас помню этот концерт. Трель за трелью звучал романс. И когда трель достигла вершины, кто-то крикнул. Крикнул так резко и так неожиданно, будто его кольнули. Никто не расслышал, что он крикнул. Это был крик не то «ой», не то «ай», не то «хей». Все повернулись в ту сторону. Он сидел в пятом ряду. Он клонил голову набок. И вроде бы спал. Глаза его были закрыты, а впрочем, может, и нет. Я точно не помню. Этот крик поразили весь зал. Никто никогда не кричит на концертах. И притом так громко. Я ни разу не слышал. Когда трель пошла вниз, он снова крикнул. Теперь я расслышал отчетливо. Он кричал «хей!». Потом еще и еще, и так много раз на весь зал. Все головы повернулись к нему. Трель на сцене сорвалась. К кричавшему подбежали.

— Что такое? — спросили его.

Он поднял голову и сказал:

— Ой, простите меня, фу-ты, фу-ты...

А ЭТО ВИДИШЬ!

Человек я спокойный. Скромный служащий одного учреждения. С улыбкой хожу я по улицам. Мне в ответ улыбаются дети. А иногда, как вы сами понимаете, даже женщины. За всю свою жизнь слова грубого не сказал. Я и кошку-то не обижу. И камнем-то в нее никогда не кину, как некоторые. А чтоб драться — помилуй бог! Такого в моей жизни не было. Даже в детстве не дрался. Я знаю, в детстве тузят друг друга, а

я никогда. Никогда меня никто не тузил, и я никогда никого не тузил. Один раз только помню, давно это было, совсем на заре моей юности, приятель меня обхватил и орет: «Ну, поборемся?» Так я ему говорю: «Что ты, милый? Зачем? К чему это?» Он даже стал извиняться. «Да я,— говорит,— пошутил, просто так, не сердись...» Как же тут не сердиться? Вдруг ухо прищепит? Да мало ли что! Не любитель я этого.

А вчера я иду по улице. Как всегда, улыбаюсь детям и всему, как вы сами понимаете, остальному.

Вдруг подходит ко мне этот тип. Как вы сами понимаете, абсолютно пьяный.

— Давай я тебя защищу,— говорит.

— От кого?

— От любого!

— Зачем?

— А это видишь? — сует мне в нос кулак.

— Ну, вижу.

— Ка-ак дам!

— Кому?

— Кому хочешь!

— Никто,— говорю,— представьте себе такую картину, меня совершенно не обижает.

Я интеллигентный человек, интеллигентно все ему и объясняю.

— А это видишь? — говорит и кулак опять мне в нос сует.

— Ну, вижу.

— Ка-ак дам!

— Кому?

— Кому хочешь!

— Зачем?

— А это видишь?

Очень мне, как вы сами понимаете, тоскливо стало и печально. Что есть у нас еще вот такие неприятные люди. И улыбаться я, безусловно, перестал. И захоте-

лось мне вообще уйти. А он — цап меня! За рукав. И тянет, сами понимаете, в свою сторону. И показывает мне, как вы сами уже знаете, кулак.

Тут, надо мне должное отдать, вырвался я от него стремительно, а он меня снова схватил. Так крепко держит, что никак мне от него не вырваться. Тут я ему, сами понимаете, кулак в нос и сунул! Потому что, как вы сами понимаете, терпения у меня, как бы это сказать, не хватило.

А он говорит:

— Извините!

И сразу ушел.

Сами понимаете.

БУДЕТ СУП

— **Т**ы подожди меня здесь, — сказал мой брат, — а я сейчас.

Я остался стоять на лестнице в незнакомом мне доме. Потом мне надоело стоять на лестнице и я поднялся наверх в коридор. Коридор был пуст. Я остановился у двери, слегка приоткрытой, и почему-то мне вдруг показалось, что брат зашел именно в эту дверь. То есть я был даже уверен в этом. Я постучал. Дверь открылась, и передо мной возник старикашка с кастрюлькой: у старика была белая борода. Он шурился — видимо, плохо видел, и ресницы у старика были белые тоже.

— Мой брат... — начал я.

— Вот вы, — быстро меня перебил старик, — пойдете со мной... вот сюда... вот... в кухню...

Он зажег газовую плиту. Посмотрел на меня как-то сбоку (я стоял у дверей кухни) и налил в кастрюльку из крана воды.

— Будет суп, — объявил старик.

— Мой брат...— опять начал я.

— Просто к слову пришлось,— сказал старик.— Сейчас я буду резать лук. Вы не хотите со мной резать лук?

— Я не хочу резать лук,— сказал я.

— Вот зря, я вам дам нож...

— Зачем мне нож?

— Резать лук.

Он вытащил луковицу из кармана, аккуратно очистил, а кожуру преспокойно сжевал и съел.

— Не рекомендуют, а я все же ем...

— Я искал брата,— сказал я в нетерпении,— он куда-то зашел...

— У меня ваш брат,— сказал старик.

— У вас?

— Зайдите ко мне, я сейчас...

Я вошел в комнату старика. Брата там не было. Я хотел выйти, спросить старика, где же брат мой, когда его вовсе здесь нет. Я дернул дверь, но она не открылась. Видимо, я случайно защелкнул замок. Я сел на стул, оглядел комнату. На столе стоял живой гусь, привязанный за ноги к столу. Я удивился, как сразу его не заметил. В углу две теннисные ракетки. Портрет старухи в чепце. Вскороги кто-то дернул дверь.

— Я закрыт,— сказал я.

— У меня нет ключа,— сказал старик.

— Здесь нет брата! — крикнул я.

— Он на столе,— ответил старик.

— На столе гусь,— разозлился я.

— А ты не гусь? — спросил старик.

— Дурак! — крикнул я что было мочи.

Гусь заорал. Старик засмеялся.

— Ему нужно в суп,— сказал старик.

— Эй,— крикнул я,— открывайте!

ПЕТЛЯНЬЕ

Я не мог застать его дома. Он уходил из дома в пять утра. Старый больной человек уходил каждый день в пять утра. Куда он уходил, я не знал. Я подкараулил его в пять часов. Он как раз выходил из дома. Мне показалось, что он улыбался. Освещенный улыбкой, он прошел мимо. Я двинулся следом за ним. Он свернул за угол, прошел садик, вернулся в садик, свернул в переулок, потом в другой, потом в третий, потом обратно... Он явно петлял. Мне было не ясно, зачем он петляет. Я петлял вместе с ним, чтобы выяснить это. Я все время смотрел ему в затылок. Я не видел его лица. Но я чувствовал: он петляет с улыбкой. Он сел в садике на скамейку. Я устроился сзади, в кустах. Он сидел, вероятно, час. Я глядел на его затылок. Потом он встал и опять стал петлять, и после третьей петли я уже не пошел за ним. Я решил подождать его. Он прошел мимо меня. Я наблюдал за ним сквозь кусты. Потом я испугался, что он уйдет, перестанет петлять, я его потеряю. Я возобновил петлянье.

Прошел еще час. Мы петляли. Я еле шел от усталости. Он же, напротив, шел очень бодро. Мне нестерпимо хотелось сесть. Вдруг он остановился. Взглянул на часы. Я подошел поближе. Открывали винный ларек.

- Сто пятьдесят, — сказал он твердо.
- И мне, — сказал я.
- О! — он увидел меня. — И вы?!
- И я, — сказал я.

КАКОВО

Он сидел в пятом углу.

— Каково вам? — спросил я.

— Никаково, — сказал он.

— Ну а все-таки, каково? — спросил я.

— Никаково, — сказал он.

— Каково вам? — спросил я еще раз.

— Никаково, — сказал он, — мне никаково...

ФРУЛОФФ

— **Я**... Фрулофф Иннокентий Маевич... — шепчет Фрулофф Иннокентий Маевич.

— Заполняйте свой бланк молча, — говорит заполняющий рядом, — вы мне мешаете заполнять.

— А вы, пожалуйста, локоть уберите, — говорит Иннокентий Маевич, — уберите-ка свой локоть со стола.

— Если я свой локоть уберу, — говорит заполняющий рядом, — как же я тогда писать буду?

— А если я шептать не буду, как же я тогда писать буду?

— Мне совсем неинтересно знать, что вы Фрулофф, — сказал Петров.

— А мне — что вы Петров, — сказал Фрулофф.

Он видел бланк Петрова.

Какой-то щупленький парнишка в маечке говорит:

— А может, он суфлер? Привык шептать, и все.

— Да, я суфлер, — сказал Фрулофф.

— Я, значит, угадал! — обрадовался парнишка.

Но никто не поверил. Суфлер! Так уж и суфлер! Что еще за суфлер? Быть не может. Так уж угадал!

Ну суфлер так суфлер. Ну Фрулофф, мало ли... ну и бог с ним. Некоторые на него косились: суфлер — не суфлер? А потом коситься перестали, раз не космонавт. И все же известного артиста даже чаще встретишь, чем суфлера. А тут этот Фрулофф... суфлер... А может, он заслуженный суфлер?

Петров косился на Фрулоффа, все косился — взял да пересел. Раз здесь нотариальная контора, а не опера. Сел на другое место.

Фрулофф бланк написал, очереди своей дождался и подал лист в окошко.

— Вы чего тут написали? — спросили из окошка.

— Я... Фрулофф... — начал было Фрулофф.

В конторе засмеялись.

— Ну а дальше? — спросили из окошка.

И Фрулофф продолжал:

— Иннокентий Маевич...

— Да я не об этом, — сказали из окошка, — ну а дальше-то, а дальше что вы написали? Вы все выдумали.

— Как это выдумал? Кто? Я?

— Не я же это писала. Не по форме у вас написано, понимаете? Да и вообще неясно.

— Как же так неясно? Я писал...

— Что вы написали, полюбуйте, — ерунду. Вот что вы написали: я, Фрулофф Иннокентий Маевич... суфлер...

— Два эф, — сказал Фрулофф. — В конце.

— «Суфлер» не надо, — продолжали из окошка. — Да будьте вы хоть кондитером или сапожником — это не имеет значения: понимаете? В данном случае это значения не имеет.

— Я? — спросил Фрулофф. Совсем уж невпопад.

— Да, да, не я же, вы! Дальше что вы написали, отдаете себе отчет? Пропустим... это же как можно!

Ну что вы доверяете? Кому? Вы тут не написали. Вон там под стеклом образцы, перепишите и... У вас не по форме все.

— Как не по форме? Скажите, что неправильно,— я перепишу,— сказал Фрулофф.

— Да у вас тут все неправильно. Буквально все.

— Как — все?

— Надо смотреть каждое слово,— сказали из окошка,— число сегодня какое? Идите и пишите. Хватит мне с вами. Взрослый человек. Я вам все объяснила. Все! Товарищи, помогите ему написать... Кто-нибудь помогите, очень уж непонятливый человек попался.

Петров вдруг предложил:

— Не стоит друг на друга обижаться, право, товарищ Фрулофф. Давайте я вам напишу, если уж на то пошло.

Фрулофф долго смотрел на Петрова.

— На что пошло? — спросил Фрулофф.

— Действительно, непонятливый какой-то, а еще суфлер. Ну что там у вас такое?

Фрулофф протянул бланк Петрову.

— Нужно взять новый бланк,— пояснил Петров,— давайте я возьму.

— Я? — спросил Фрулофф.

— Ну вы возьмите, все равно.

— Я не возьму,— сказал Фрулофф.

— Что вы хотите, не пойму? Да ну вас, ей-богу, в конце-то концов!

Петров стал раздражаться.

Парнишка в маечке сказал:

— Чего он действительно баламутит? Человек для него старается, а он баламутит.

Визгливо сказал, обращаясь ко всем. Но Фрулофф на него никакого внимания не обратил.

Парнишка суетился. Уговаривал:

— Напишут вам. По форме. Ну? Садитесь. Вот сюда. По форме всё напишут. Ну?

Тогда Фрулофф повернулся и вышел из конторы. И тут вдруг Петров прочел, что было написано Фрулоффым. Петрова затрясло. От смеха. Он чуть не упал.

Там было написано такое...

И парнишка заглянул. Написанное Фрулоффым его удивило.

— И это она, в окошечке-то, еще вежливо с ним разговаривала, ничего себе...

Петров сказал:

— Черт знает... слов не нахожу... ей-ей, не могу, ну и ну!

— Да разве возможно с таким человеком так долго разговаривать! — не унимался парнишка.

Он выбежал на улицу и крикнул вслед Фрулоффу:

— Ты что, одурел?

— Обиделся... — сказал Петров. — Ну надо же...

— Да может, он и не суфлер... — вздохнул парнишка.

— А кто же он?

— Ну и суфлеффф... вот те суфлер... суфлер... — Парнишечка вздохнул.

Другие подошли. Прочли. И контора от смеха перекосилась.

От автора: к сожалению, меня тогда не было в этой конторе, и я не знаю, что там было написано.

Жаль...

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТИ

Художник писал в саду пейзаж, а дети ему мешали. Они стояли гурьбой за его спиной. Тогда он сказал ребятишкам:

— Полезайте-ка, дети, на дерево и сосчитайте, сколько там листьев.

Дети с радостью убежали.

Когда художник кончил работать, он счистил краску с палитры и собирался идти домой. Но дети опять его окружили. Они кричали наперебой:

— Тысяча!

— Двести!

— Пятьсот!

— Восемьсот!

— Семь тысяч!

— Миллион!

— Шесть — пять!

— Удивительные дети! — сказал художник.

ПРИСТАНИ

В возрасте пяти лет я преспокойно прошел по карнизу пятого этажа. Меня в доме ругали и даже побили за то, что я прошел по карнизу. Я убежал из дома и добрался до города Сыктывкара. Там я поступил на работу в порт. Хотя мне было всего пять лет, но я уже крепко стоял на ногах и мог подметать исправно пристань. Мне едва хватало на хлеб, но через месяц я подметал две пристани в день, затем три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Через год я подметал двести семьдесят пристаней. Мне стало уже не хватать пристаней, для меня срочно строили новые, но я успевал подмести их раньше, чем их успевали построить. Дело дошло до того, что я подметал те пристани, которые были еще в проекте и которых в проекте не было. Папаша, узнав о моих достижениях, не скрывая восторга, воскликнул:

— Молодец! Пробился в люди.

О ЧЕМОДАНЕ

Две старушки беседуют на углу.

— Ну как твой сынок, уехал?

— Чемодан, понимаешь, ему купили, а он взял с собой рюкзак. Чемодан-то ему оказался не нужен, а деньги-то ведь текут... Куда теперь чемодан-то использовать? Ведь в карман не положишь — торчит в углу комнаты — весь пейзаж портит. День и ночь кошка на нем сидит. Будто для кошки его купили. Все дни чемодан у меня в голове. Чемодан, он чемоданом останется — и ничего для него не придумаешь нового. Если бы, например, стол, или шкаф, или, к примеру, диван какой, так на диване сидеть еще можно. А чемодан не пригоден к этому. Горе мне с чемоданом! Напишу Ваське: мол, приезжай, забирай чемодан, очень мы с чемоданом намучились, совершенно его пристроить негде. Загонит меня чемодан в могилу.

— А ты его под кровать положи.

— Да ты что, с ума? Для того разве мы чемодан купили, чтобы его под кровать пихать? Упаси бог, лучше пусть чемодан на виду стоит, чем под кроватью пылится. Чего доброго, про него забудешь, так он и простоят там тысячу лет. Ничего себе ты придумала! Эдак выходит, их покупай, а потом под кровать запи- хивай? Спасибо тебе на здоровье!

— А ты попробуй его на шкаф. Со шкафа его не- бось видно будет.

— Чемодан у меня ведь шире шкафа. Тогда шкаф надо на чемодан поставить. Только не принято так у людей, чтобы шкафы ставили на чемоданы.

— Так что же тебе с ним делать?

— В том-то и дело, что нечего делать. Вопрос ведь в это и упирается. Оттого я и мучаюсь. Спать не могу. О чемодане все рассуждаю. Потому что ежели он не

нужен, так и покупать его было не нужно. У меня во всем должен быть порядок. И чемоданы на месте, и все как положено.

— Да, тяжелый вопрос.

— А я об чем? Конечно, тяжелый. Кабы легкий был — делов-то мало. С чемоданом этим мозгами закрутишь. Поди попробуй управься. Так, глядишь, каждый себе, чемоданов накупит... А к чему они? Ясное дело, что ни к чему.

— Так что же ты думаешь делать?

— Право, я и не знаю. Серьезная тема. Ну, приходи вечером, поговорим.

Я ЗАШЕЛ БЫ К ВАМ

Если бы знал я, куда открывается ваша дверь... я зашел бы к вам. Но я не знал этого.

Жена говорит:

— Пойдем сходим к ним...

А я ей говорю:

— А дверь?

Она говорит:

— Что — дверь?

— Ты знаешь, куда она открывается?

— Нет,— говорит она,— не знаю.

— Вот в том-то и дело, я тоже не знаю.

— Как жаль, значит, мы не пойдём к ним в гости.

— Нет, почему же? Мы сходим, надо только узнать заранее, в какую сторону открывается дверь.

Я ТЕБЕ — ТЫ МНЕ

— **Д**ай то-то.

— На, но помни, что я тебе дал.

- Дай теперь ты то-то.
- Не дам.
- А помнишь, я тебе дал то-то?
- А зачем ты дал, ты не давал бы.

СТУК

Я ждал, когда нам починят крышу.

Началось это так:

БУМ! БУМ! БУМ!

Потом по-другому:

БАМ! БАМ! БАМ!

Потом:

ТРАХ! БУМ! БАХ!

Потом:

БИМ! БИМ! БИМ!

Потом деликатно:

ТИК! ТИК! ТИК!

Потом громко и долго:

БУМ! БУМ! БАМ! БАМ! БУМ! БУМ!

Потом удивительно резко:

ТРРРАХ! ТРРРРАХ! ТРРРАХ!

Потом несравненно, ни с чем несравненно:

УУУУХ! УУУУУУХ!!

Потом выразительно:

БАЦ! БАЦ! БАЦ!

Потом витиевато:

ТРАМБАЛАМБЫМ! ТРЫМБАЛАМБЫМ!!!

Потом сумбурно:

БУМ! БАМ! ТРАМ! БУМ! БИМ! ТИК! ТРРРАХ!

УУУУХ! БАЦ! БАЦ! ТРЫМБАЛАМБЫМ!!!!

Через год починили всю крышу.

А я к этому времени уже оглох окончательно.

СИМПАТИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

— **П**риветствую вас,— сказал он, входя и снимая шапку.

— Привет — сказал я.

— Привет,— сказал он, надел шапку и вышел.

Только его и видели. Но он очень понравился мне. Какой-то он был симпатичный и странный. Приятный он был человек!

ЧЕЛОВЕК ИДЕТ ПО РЕЛЬСАМ

Человек идет по рельсам.

Блестят бликами рельсы.

Шпалы, шпалы под ногами.

Рельсы идут в перспективу.

Человек идет в перспективу.

«Так, так»,— отбивают шаги.

Пыль под ногами, пыль.

Насыпи по бокам, по бокам насыпи.

Человек идет по рельсам.

«Где конец рельсам,— думает он,— где конец рельсам?»

«Там, где они сходятся, там, где они сходятся».

Дождь идет на рельсы, снег идет на рельсы.

Человек идет по рельсам.

И ТАК ХОРОШО, И ТАК ХОРОШО

Когда я в жаре под солнцем, я хочу на дождь и туман.

Вот дождь барабанит мне по макушке, туман окутывает меня.

В тумане мои мечты — о солнце.
На солнце мне жарко.
Пусть лучше дождь барабанит мне по макушке.

ОКНО ПРОТИВ ОКНА

Весело мне, очень весело — я смотрю из окна в окно напротив и опять вижу ее.

Я вижу ее каждый день в окно, и она меня тоже.

Утром расчесывает она волосы у окна, а я ей машу из окна рукой. Днем она улыбается мне из окна, и я улыбаюсь ей из окна.

Вечером она поет у окна, подперев рукой щеку, я смотрю на нее, подперев рукой щеку.

Между нашими окнами целая улица. Но словно нет между нами улицы — так мне кажется.

ПРОХОЖИЙ

Прохожий идет по улице с непокрытой головой.

Мороз и снег на улице. Локти на пиджаке протерты, а воротник пиджака поднят кверху.

Взрывы бомб, плач детей, облака и любовь, цветы и солнце, горе и радость, мосты через реки, моря и горы несет в себе прохожий.

ПОЧЕМУ Я ИДУ АТЬ-ДВА!

Правой ногой, левой, ать-два, ать-два!
Музыка где-то играет марш.

«Ать-два! — я иду.— Ать-два!»

А кто знает, я и сам не знаю, я независимо от себя иду ать-два.

Как я ни противлюсь, я все равно иду ать-два.
Что же мне делать, раз я не могу не идти ать-два,
когда рядом играет марш.

КВАКАНЬЕ

(Мой сосед)

Мой сосед квакал. Он квакал самым естественным образом в радиопостановках. Я часто слышал его дивный голос в различных детских сказках. Квакал он прямо-таки виртуозно: «Ква-ква, ква-ква, ква-ква». Я всегда удивлялся, как человек наострился так ладно квакать.

Он говорил мне за чаем сотни раз: «Жаль, не умею я хрюкать и лаять, а то б зарабатывал втрое больше».

НИЧЕГО ТУТ СТРАННОГО НЕ БЫЛО

Ничего тут странного не было. Вася сел с пилой возле дерева на проспекте и стал пилить ствол. Люди прогуливались по проспекту. На Васю не обращали внимания. А когда дерево рухнуло, все смылись. А Вася пошел домой.

Одна старушка догнала его и спросила, к чему все это.

Он сказал:

— О, здрасте, Первое мая, очень приятно вас видеть!

А потом сказал:

— Пьезонаушники пристроить к скрипке, ка-ак жмыкнешь — о красота!

ПЯТНО НА СТЕНЕ

Мне показалось, я вижу пятно на стене. И в то же время я не был уверен, что пятно там действительно есть. То есть я его видел и мог бы поспорить с кем угодно, но было сомнение в какой-то малой доле. Я встал и потрогал стену в том месте, где, как мне казалось, было пятно, дабы проверить, не сыро ли здесь.

Но это место не было сырым, и я стал сомневаться гораздо больше в существовании пятна, чем до того, как потрогал стену. Я уже готов был отойти от стены, как вдруг что-то треснуло, поднялась пыль столбом и зеленая тень легла вдоль стены. Потом тень стала розовой. На месте пятна образовалась дыра. Я разломал края этой дыры, чтобы заглянуть внутрь. Просунув голову в дыру, я понял, что обратно мне ее не вытащить.

В дыру я видел собак и кошек. Кошки вскорости побежали, а за ними также и все собаки.

Видимо, начиналось землетрясение.

МОЛОДЦЫ

Вот где молодцы работнички! Вот где да! Вот где! Вот это да! Молодцы! Вот это они сделали! Здорово сделали! Ох и поработали! Молодцы молодчики молодые молодцы! Не просил их никто, никто не просил. Все сами, инициатива все, взялись сами, все сами! Вот бы все так! Вот все бы! Эх, а не все так. Не сделают это. А эти, эх и! Ну и! Ох молодцы, ох молодчики, честные, любят работу, трудятся, эх, что там, ох и молодцы, ох и, ух ты... Так они ведь не то сделали...

ВЕСЕЛОЕ НАСТРОЕНИЕ

— **В**еники продаем! Веники продаем! — кричит женщина на углу. Полная корзина веников. Почему бы мне не купить веник?

— Дайте веник.

Я иду по улице, машу веником.

— Простите, где вы купили веник? — интересуется милая девушка.

— Как где купил, на углу купил...

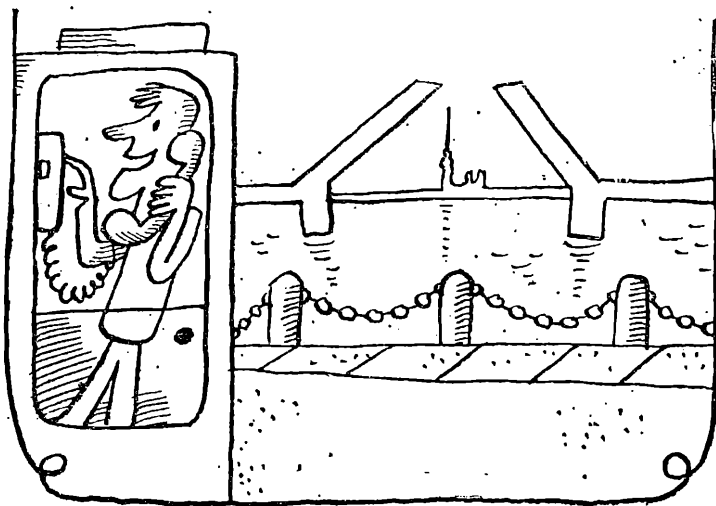
Я провожаю девушку.

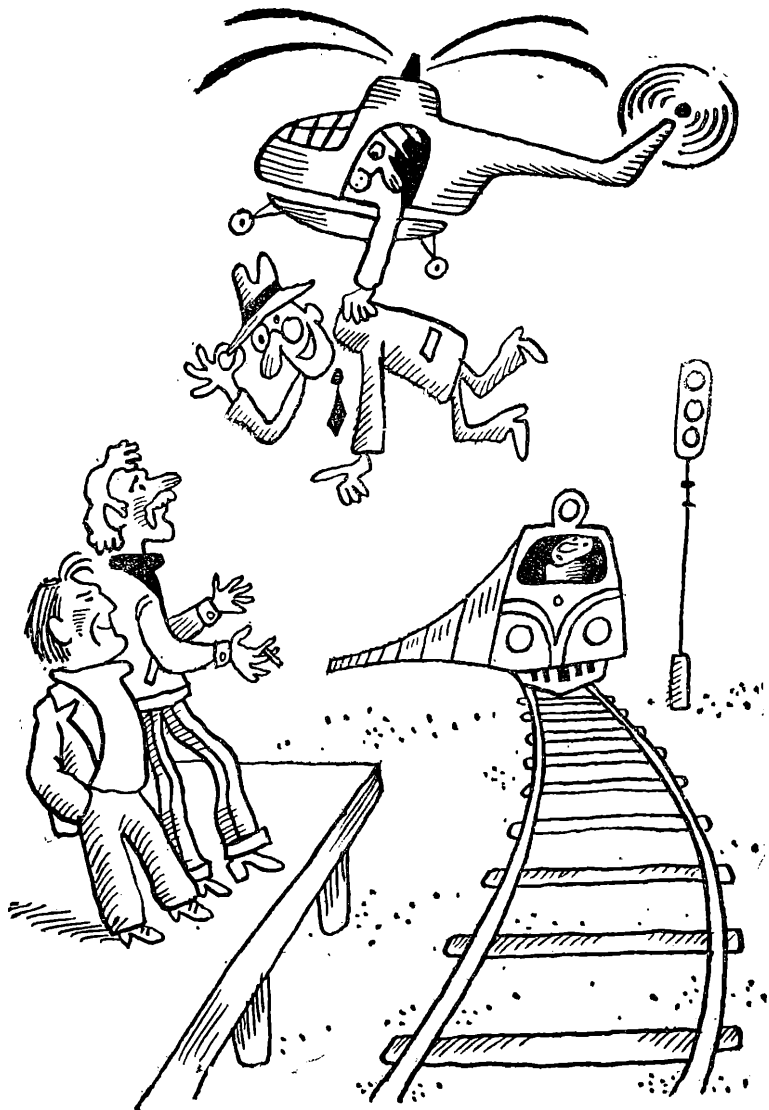
Она тоже купила веник, и мы вдвоем с ней машем вениками и смеемся.





КАЛЕЙДОСКОП





КАЛЕЙДОСКОП

Не успел я войти в кабинет своего приятеля Шурика, директора мебельного магазина, как вдруг над моим ухом бахнуло как из ружья, посыпались с потолка осколки электрической лампочки — и наступила темнота.

— Опять в меня бабахнули,— сказал Шурик.

Оказалось, если лопается лампочка, хлопает шина, где-нибудь стреляют, что-то взрывается или вообще раздается резкий звук, похожий на выстрел, Шурик говорит: «Опять в меня бабахнули». Ну мало ли кто как выражается по разным случаям в конце концов, но я еще не знал, что он выражается так, и спросил:

— Почему в тебя?

— Кто-то все время целит в меня, но пока не попадает.

— У тебя что, много врагов?

— Минторг, облторг, горторг, ОБХСС, кроме того, те, кому я что-то не сумел достать, и все те, кому надо, чтобы я что-то достал. Вот сколько у меня врагов!

— Почему же так?

— Горячее у меня местечко,— пояснил Шурик.

— Нервный ты какой! Как же ты работаешь с такими нервами?

— Вот нервами и работаю,— отозвался он из крошечной темноты.

— Я знаешь зачем к тебе явился? Тумбочка мне нужна для обуви.

— Да брось ты! — засмеялся он.

— А что смешного, если мне тумбочка для обуви понадобилась?

— Нет, ты серьезно? — спросил он.

— Вполне.— Что-то рядом свалилось и разбилось, потекло, закапало мне на ногу,— лучше уж не шевелиться в этой обстановке.

— Да стой ты там на месте со своей тумбочкой! — заорал он.— Разбил мне графин.

Тут кто-то навалился на меня и сдавил с диким хохотом.

— Здорово я к тебе подкрался, сукин сын, будешь ко мне приставать со своей тумбочкой! Рад тебе, бродяга, ха-ха-ха! Только на хрена тебе тумбочка нужна?

Мы закрутились, завертелись, завозились, никак я от него не мог освободиться.

— Ну, складывать ботинки, туфли...— объяснял я, зыдыхаясь от щекотки,— что тут объяснять?

— Неужели у тебя в стенах шкафов нету? — грохотал он своим бесподобным голосом.— В любом новом доме шкафы в стенах. Закинь туда свои ботинки — и привет! Да не уминай ты так старательно стекла в пол... Где ты вообще тумбочки видел? У сапожников в будках? На кой она тебе сдалась, зачем тебе проход загромождать, если ты не сапожник?

— Какой проход?

— Куда ты ее ставить собираешься? Натыкаться, протискиваться и поминутно задевать?

— При чем тут задевать? Зачем протискиваться? Если мне понадобилась тумбочка, значит, мы с женой уже этот вопрос со всех сторон обсудили...

Я случайно задел локтем дверь, и она приоткрылась.

— Во-во! — завопил он.— Выходим! Открой, при-

открой ее... о! Всё! Светло как днем! Давай настезь, давай! Раскрой настезь! Молодчик! Гений! Сейчас позвоним.

Он схватился за телефон, чтобы позвонить монтеру. И как он звонил!

Сто слов в минуту. Автомат. Ракета. Атомный заряд. Спортсмен. Растущий кадр. Вот он, молодой, деловой работник Министерства торговли! Вот он, современный, энергичный директор! Что ему стоит тумбочку устроить?

Лампочку нашли невероятной величины. Ее ввернули — и она грохнула. Нет, этого не передать! На какой-то момент мы оглохли. Засыпались стеклом. Монтер свалился с табуретки.

— Вы в порядке там? — спросил его Шурик. — Вверните новую лампочку, только подождите, когда мы уйдем.

За тумбочкой, решил я.

Новый взрыв новой лампочки саданул нам в спину, и тумбочка моментально вылетела у меня из головы.

— Сын у меня вчера родился, — сказал он мне во дворе, — а они мне портят настроение беспрерывной лампочной пальбой.

— Что же ты молчал?!

Окно его кабинета озарилось вспышкой магния, и свет погас теперь во всем магазине.

— А как же моя тумбочка...

— Какая уж тут тумбочка, — сказал он, — света нет.

— А что я жене скажу?

— Так и скажи. — Он подмигнул: — А по этому поводу... вокзальные рестораны привлекают быстротой обслуживания. Непосредственная связь с поездами этому способствует...

Но что нас там ждало!..

Мы сели. Заказали. Сидим. Выходит тип на эст-

радную площадку и самым гнусным голосом заявляет буквально следующее:

— Дамы и господа! Свэрх-супэр-экспресс на воздушных подушках пройдет сейчас, к вашэму свэдэнию, чэрэз рэсторан навывлет! Извэнитэ, нэбольшой ляпсус с рэстораном, тэхнічэскиэ расчэты подвэли ынжэнэрный коллэктив... Экспресс-супэр тэпэр пройдэт сквозь это достопримэчательнэз зэркало навывлэт в городок...

Что за галиматья!

— ...Рэсторанных посэтитэлэй просым сэрэдыну зала освободыть, чтобы супэр тэпэр не задэл вас огнэм турбын. Просым убэдытэльно отойты к стэнэм тэх, кто в сэрэдыне, и захватыть с собой столы с эдой и питьэм. Танцы прэкратыть на врэмья пуска ы нэ начынатэ послэ прохода машины в тычэниы нэскольких сэкунд. Пол можэт рухнуть, но зэмля выдэржыт, а стэны должны удэржатыся по расчэтам авторытэтной комысы...

Черт знает что! Оказалось, иностранец, а может, и не иностранец, не то дипломат, а может, и не дипломат, не то инженер, а может, и не инженер, не то поднабрался, не то свихнулся и выдал речь. Бог с ней, с речью, но вдруг наяву обдает нас паром и шипеньем! И добавок валится на нас зеркало. В ушах женский визг. Мы как раз в середине. И вот наклоняется на нас зеркало с отражением всего зала...

А вышло вот что: когда этого полоумного выводили, он вырвался и побежал прямо в зеркало. Мы не рассматривали, что с ним дальше произошло, потому что он задел официантку и тарелка с борщом форменным образом взорвалась над нашим столом.

Выходим на перрон. И что бы вы думали? Ни за что не догадаетесь, сколько бы ни старались. Когда мы сюда шли, стояла самая настоящая осень. Желтые листья кружились и вертелись. Пивные ларьки функционировали без подогрева. Птички чирикали и лета-

ли. Теперь — кругом снег. И птички куда-то пропали. Но и это не все. Возникает сказочная современная картина: опускается прямо на платформу оранжевый вертолет, подбирает того типа, который речь говорил. (Он успел еще с платформы свалиться.) И честь честью отправляют его воздушным путем в больницу. Вот они, наши дни! Такого бы балбеса сразу в вырезвидель, а не тратить на него современную технику.

Дальше: покупаю в «Детском мире» вместо тумбочки для обуви плюшевого медвежонка для сына Шурика.

Садимся в первую попавшуюся машину.

Едем по домам.

Но и это не все.

Светофор. Стоп!

— Привет адъютанту его превосходительства! — орет шофер.

— Что ты, брат, очумел?

— Смотрите, адъютант его превосходительства едет!

— Какой адъютант? Какого превосходительства?

Впрочем, верно!.. Гляди, гляди, Шурик, вон за рулем рядом стоящей машины — адъютант его превосходительства! Как с экрана сошел! Точно, он!

Рванули за машиной адъютанта его превосходительства.

Завелся наш шофер. Догонит он адъютанта во что бы то ни стало и перегонит, что бы это ему ни стоило!

— Жми, старик, вот молодец!

...Скрип тормозов. Удар. Лечу башкой вперед! Трах лбом! Вот те на... Налетели на столб.

Умчался в своем направлении адъютант его превосходительства.

— Жив ты?

— А ты?!

— Да все живы, — отозвался шофер.

— Во везет! — обрадовался Шурик. — Во бабахнули! Жаль, машину в ремонт...

— Ладно уж...

Вылезаем. Идем.

— Эх, медвежонка-то в машине оставили! — спохватился я.

— Не болит голова? — спросил Шурик.

— Ладно уж...

— Не волнуйся, — сказал Шурик, — сделаем в два счета прививку от столбняка.

Сели в другую машину, доехали до поликлиники, сделали прививку от столбняка.

— Нет ли у вас сотрясения? — спросил доктор.

— Нет у него никакого сотрясения, — сказал за меня Шурик.

— Голова у вас не кружится? — спросил доктор.

— Ничего у него не кружится, — сказал Шурик.

— До свидания, — сказал доктор.

— До свидания, — сказали мы.

— Не волнуйся, — сказал Шурик, — ты завтра ко мне заходи, тумбочек у нас навалом.

— А деньги-то я на медвежонка истратил.

— Медвежонка найдем и тумбочку найдем, — сказал он.

Пальнула шина.

— В меня бабахнули, — сказал Шурик.

— Ладно уж... — сказал я, прощаясь.

И зачем мне эта свистопляска была нужна? С какой стати? Я человек с достоинством, во-первых. Живу тихо. Пью чай по утрам, а после работы маленькую кружку пива. Работаю без суеты, и меня уважают на производстве. Я человек аккуратный, и мне нужна тумбочка для обуви. Хотел по знакомству. Думал, удобней. Быстрей. А в итоге что? Калейдоскоп! Супер-тэпер, лампочки, столбняк... И деньги на ветер... Все Шурик! Он. Подумаешь, заведует магазином! А я, меж-

ду прочим... не хочется вам говорить мою специальность. А он хуже меня в школе учился, простите за откровенность. Вертелся на парте, как змей, и обменивал на марки конфетные бумажки. Ни одной конфетной бумажки у меня не сохранилось, а марочную коллекцию он, наверно, до сих пор пополняет...

Так, рассуждая и путаясь, пришел домой.

А в коридоре, между прочим, жена сидит на тумбочке и улыбается.

— Лампочку там, — говорит, — какую-то вкрутили, шофера с медвежонком он нашел, и привет тебе от адъютанта его превосходительства...

— Невероятно ведь... как он успел?

— А ты где был?

— Калейдоскоп какой-то...

СБИЛСЯ С РИТМА

Мужчины богатырского вида жнут рожь, вяжут снопы, и все это так скомпоновано, будто они не работают, а исполняют величественный танец. Неназойливые краски, смело положенные мазки, каким-то образом пережившие вечность. Фрески окружали со всех сторон: сюжеты библейские, бытовые, жития святых. Не было буквально свободного местечка: простенки, косяки, углы — в орнаментах, которые нигде не повторялись.

Я искал пустое место. Ни одного пустого места, черти, не оставили! Размахнулись вовсю и местечка не оставили. Надо же иметь такую натуру! И как написано!

Фрески производят впечатление, но думаю я о своем. Шесть лет я учился в институте, а до этого пять лет в училище. Чего только я не повидал за это время: все возможные известные произведения искусств

ва с античности до наших дней. В том числе и эти фрески разглядывали не раз. Но только сейчас я стою перед ними потрясенный.

Нет, не фресками я потрясен, а тем, что произошло во мне только сейчас, буквально сию минуту. А это мне вовсе некстати.

— Что с вами? На вас лица нет. Вам нехорошо? — Это спросила совсем незнакомая, проходящая мимо женщина.

— Нет, нет,— поспешно сказал я.— Все хорошо!

— Ах вы просто задумались! Простите! — Она отошла, ее лица я не успел запомнить.

О чем я задумался?

Институтское преподавание я впитывал как губка. Студенты там разное откалывали — формализм, экспрессионизм, испытывали влияние со стороны, как у нас выражались. Одних выгоняли, других уговаривали: мол, талантливые ребята, со временем исправятся. Таких я не понимал и внутренне осуждал прямо с ходу, без комментариев. Интуитивно я чувствовал, что они мешают мне выполнять как можно лучше то, чему меня учат. А я старался по специальности. Общеобразовательные предметы мне тоже легко давались. Я был отличник и светлая голова. Я так рисовал гипсы, что все удивлялись. Чтобы удивлялись еще больше, я рисовал их иногда по ночам, чтобы с утра услышать удивленные возгласы.

Я так старался правильно рисовать, что сейчас, сию минуту, стоя перед этими фресками, я об этом жалею.

Сейчас мне вдруг показалось, что правильно надо переходить улицу, и то не все это делают.

На этих фресках с точки зрения нашей институтской школы все сплошь неправильно! Но как по-своему выразительно! Значит, правильно в высшем смысле.

Выходит, я много лет впитывал в себя невыразительные приемы.

Педагоги виноваты? Наверное, я сам. Вряд ли тут можно кого-нибудь винить в столь индивидуальном деле. И только сейчас, сию минуту я понимаю, насколько оно индивидуально.

Я все года с надеждой смотрел на преподавателей. Я старался угадать того, кто выведет меня на верную стезю искусства. Учась, я и чувствовал себя учеником. Но ни один преподаватель не торопился взять меня за руку и вывести в люди. И чем пристальнее я в них всматривался, тем чаще замечал, как каждый педагог по-своему изобретательно уклоняется от этого.

Я помню, что в училище преподаватель живописи Редкий пользовался среди нас особым авторитетом. Держался с нами вполне доступно, выражался толково и ясно, как нам казалось. Мы так и называли его — Толковый. То Редкий, то Толковый, кому как больше нравилось. Он носил фуражку. И наши ребята утверждали, что в фуражке у него согнутый стальной прут. Прут придает фуражке стабильное положение. Этот прут своей тяжестью равномерно давит на голову и тем самым способствует постоянно ясному, толковому мышлению.

В мастерскую Редкий конечно же приходил без фуражки, он оставлял ее в деканате, но я продолжал видеть круг над его головой наподобие нимба, и именно этот нимб, по моему ощущению, продолжал способствовать толковому мышлению. Однажды мне представилась возможность там, в деканате, прощупать края его фуражки, но нащупать прут не удалось.

Так вот только теперь я понимаю, что другие все это принимали в шутку, а я всерьез.

Редкий не любил, когда ему задавали вопросы. Всякий вопрос он стремился предупредить, а один раз так прямо и сказал кому-то из наших:

— Задавать вопросы — моя задача, а ваша — отвечать. Не я у вас учусь, а вы у меня.

Сам же он вопросы задавать любил, так и стоят они у меня в ушах:

— Это у вас откуда?

Студент растерянно почесывал голову, раздумывая, откуда у него это.

— А тут у вас что?

Студент испуганно вздрагивал, разглядывал, что у него там такое.

— А это что такое?

— Это тень...

— Вот это зверское зеленое с добавлением омерзительного розового и черт знает какой еще дряни?! Нет, это не тень. Тень делается коричневым с добавлением сажи газовой с охрой.

— Почему? — спросил студент. — Вам так видно?

— Всем так видно. — Палка закрутилась в руке преподавателя, как у жонглера, — он заметно раздражался. Студент был вредный тип.

Он сказал:

— Не всем.

— Вам одному неясно, что любая тень берется красками определенными.

— Тени могут быть разные, — сказал студент.

— Не морочьте мне голову, тень есть тень. На тень есть рецепт.

— Не все тени одинаковые, — сказал студент.

— Не наводите тень на плетень. — Редкий рассмеялся.

Я думал, он сейчас возьмет у студента кисть и перемажет тень на его холсте по рецепту. Замажет ее сажой газовой с охрой темной, добавит немного коричневого, и не будет тогда студент хвастаться, что у него прозрачная тень и светится изнутри, потому что он, видите ли, над ней бился.

Я думал, Редкий подойдет к моему холсту одобрить мою тень, сделанную точно по рецепту. Но он почему-то вышел.

Вот сейчас я понял, что тогда только я один видел нимб над его головой всерьез, а все остальные в шутку.

Выходит, чувства юмора у меня не хватало. Но ни сейчас, ни прежде, никогда я не хотел бы услышать от кого-нибудь, что у меня чего-то не хватает. Как это не хватает! Это не мой удел. Это ко мне не относится. У меня всего полно, и я еще всем докажу это...

Преподаватели ставили мне отличные оценки. Преподавателей было много. Они сменяли друг друга. Мне не хватало Учителя.

Если бы я был Талант, я учил бы этих самых преподавателей. А их роль состояла бы в том, чтобы мне не мешать, а способствовать.

Получается, все претензии к самому себе.

Я не знаю, что мне теперь делать, но я не запутался. Я прозрел.

Здесь стены одухотворены подлинным искусством, которого мне никогда не достичь.

Я крепкий молодой парень. Школа в меня въелась и сформировала по своему образу и подобию. Стоит ли ломаться? Другую манеру нельзя к себе искусственно прилепить. Будет неорганично и неестественно.

Ломка — действительно весьма драматичная ситуация.

Голова моя ходит кругом.

«Что с вами? Вам нехорошо?»

Я еще сам не знаю, каково мне. Я знаю только, что сбился с ритма, и что теперь будет — дальше посмотрим.

На улице я ощутил себя карликом, а прохожих, идущих мне навстречу, гигантами духа, потому что они знают, что делают, и идут уверенно к цели.

Ничего в моей жизни вроде бы не изменилось, но что-то все же пошло вкось. Я приходил в мастерскую и решительно не знал, что мне тут делать. Сомнения крепко брали меня в плен. Зачем вообще нужны картины, если их никто не купит и, может быть, никто не поймет? Зачем нужны художники? А их действительно многовато выпускают художественные вузы.

В таком состоянии, если я брал в руки уголь, карандаш или кисть, не мог заставить себя прикоснуться ни к холсту, ни к бумаге.

Пришел приятель, бывший однокурсник, и, довольный, сообщил, что устроился преподавателем в художественное училище.

Я дернулся и выругался.

— Что с тобой? — удивился он.

— Я сбился с ритма. У тебя такого никогда не было?

— Не было, — сказал он.

— Ты никогда не сбивался? — допытывался я.

— Ритма не было, — сказал он. — Ты что, пьешь много? — спросил он.

— Как все, — сказал я.

— А ты пей, как не все.

— То есть?

— Сам по себе.

— Сидеть одному и дуть самому по себе?

— В таком состоянии я тебя одного не оставлю, — сказал он. — Может, тебе с дамой познакомиться? Тогда все забудешь или, наоборот, все вспомнишь, и дух поднимется.

— От чего у меня дух поднимется?

— Ну отдохни. Поспи хорошенько. Поешь рыбы, свинины...

— Свинина при чем?

— Поправляйся. Таешь на глазах,

Я совсем забросил работу, рассорился с женой и, когда остался один, пропил все, что накопил прежде. Теперь надо было умереть или начать все сначала.

Я встал на ноги, широко их расставил и что было сил выдохнул: «Х-х-х-а-а-а!!!» — будто от всего освободился.

Снова вздохнул. Посмотрел на руки, крепкие, молодые, и взялся за палитру. Счистил с нее засохшие краски и выдавил свежие.

Взял в руку кисть.

Автопортрет — часть лица в тени, а другая светлая, — как никогда, свободно выходил на холсте.

Жаль, пропало много времени...

Совершенно вымотанный работой, но со светлой головой, я шел по улице. Встречные казались мне маленькими и слабыми.

Я не сомневался: то, что я сегодня сделал уверенной рукой, кому-то нужно. Всем это нужно без всякого сомнения!

Но так ли это?..

НЕПРОБИВАЕМЫЙ

Чего стоит один ее шарф! Шарф — как шлейф. Начинается где-то впереди, а концы вовсю развеваются сзади.

Буквально скачешь за ней некоторое время, любишься походкой, осанкой, копной волос на голове, посаженной на редчайшую шею. А фигура! Точно вам скажу: попадется такая фигура на глаза — сразу поворачиваешь за ней. И если шел в другую сторону, то непременно теперь пойдешь в эту, за ней. Спешешь за ней, тоскливые мечты появляются: хочешь познакомиться. Но трудно. Неудобно. Проклинаешь мысленно разные там неудобства, условности...

Первым делом во что бы то ни стало взглянуть ей в лицо!

Догоняешь ее, опережаешь, но головы пока не поворачиваешь, словно спешишь на троллейбус. Наконец внезапно оборачиваешься и только больше поражаешься красотой.

Но как-то тут же усекаешь: она давно догадалась, что ты хотел повернуть голову и взглянуть на нее.

Короче, опять назад отваливаешь, заговорить не решаешься со своим скудным запасом слов, со своей проклятой стеснительностью пропускаешь счастье.

А она сама, может, была бы не прочь познакомиться. Смотрю на развевающиеся концы шарфа, но и другое замечаю. Еще когда в лицо взглянул, увидел, что смотрит она вдаль. Значит, идет просто так, а не по делу направляется. Туфли самые модные надеты, а ноги как бы сзади остаются — не они ее несут, а она их за собой тянет.

А платье? Не она в платье, а платье на ней. А шарф сзади волнами полощется...

И чего я с этой идиотской стеснительностью? А все моя работа, нет в ней порядочной надежности, не то что будущности, романтичности...

И вдруг тип подлетает запросто, как бабочка, и начинает ей что-то говорить. И все время поворачивает к ней свое лицо. А лицо-то у него, как у того, который стрелял в американского президента. Можете себе представить? Сами понимаете, не может он быть прелестью, раз похож на убийцу президента!

И стал он с ней разговаривать, а руки в карманах своей моднейшей куртки держит, локтем чуть-чуть ее руку подталкивает.

Была бы у меня приличная работа, я бы тоже мог такую куртку себе купить.

Я, значит, остолбенело на все это смотрю, что же мне еще делать? Не мчаться же его отталкивать.

А она сразу так и вспорхнула, так и воспрянула, встрепенулась, приосанилась. Идти даже стала совсем по-другому. Будто по облакам ступает и не вязнет, представьте себе.

А я, значит, должен сзади плестись и их разговор урывками слушать. А они и не замечают, что их подслушивают, настолько увлечены.

В былые времена выхватывали шпагу на моем месте и становилось все на свои места. После этого надо было руки добиваться, в противном случае — лечь к ее ногам и дух вон.

Но шпаги никакой у меня нет, а что у меня есть — одна моя пустопорожняя работа?

Слышу, этот, похожий на убийцу американского президента, говорит:

— Хотите я вам книжку подарю? — Ну и нахал!

— Зачем? — говорит она.

— А что? — говорит он.

Она, заинтересовавшись, спрашивает:

— Какую книжку?

— Свою.

Она поворачивает к нему голову, и я вижу ее восхищенное лицо и его гирландайский профиль. На ум это пришло, а гирландайский — я не знаю что...

— Я поэт. Гм-гм... — И вовсю семенит с ней рядом, похожий на убийцу американского президента.

А я сзади плетусь, как паршивая овца.

Она все время смотрит на него, но один зрачок и на меня направлен. Бесспорно, я ее тоже интересую, она уже имеет меня в виду.

— Не верите? — говорит он.

— А где у вас книжка, покажите, — говорит она.

— Хотите сбегая. Пошли вместе, — говорит он.

Она смеется.

И болтают себе и идут, надо же, во дают! И глупость ведь несут, ну и гуси, а главное — вместе.

Облек, окутал, обволок он ее своими словесами. Ну и напор, надо же! Улыбки из нее так и брызжут фонтанами.

Как же бы мне к ней все же пробиться через эту его оболочку, через его сильное влияние и ее внимание на себя переключить?

Я бы тоже мог предложить ей какую-нибудь дефицитную штуку. Достал бы где-нибудь, подумаешь...

И тут я смело подхожу (наконец-то, смелей же!) к ней с другого бока, и шагаем втроем. Пока еще мое положение идиотское, я как чучело гороховое, но надо же что-то смелее дальше предпринимать.

Если долго так идти втроем в ногу, меня или за своего примут, или могут от меня вовсе убежать. Предпринимай же что-нибудь скорее! Скажи ей пару слов.

— Я где-то вас видел..— говорю ей нетвердым языком. Но все же! Начало положено. Не валяй дурака, не упускай, раз ввязался.

И тут она подарила мне улыбку. Идет гордо, словно плывет, и это ей ничего не стоит, голову на своей замечательной шее держит высоко и прямо, глядит по сторонам и ищет глазами, нет ли где еще третьего балбеса.

Но больше никто не идет, это точно.

— Почему я вас должна помнить? — говорит она мне.

— А я вас помню,— говорю.

— Вы — меня?

— Я — вас.— Ужасно примитивно, конечно, но отвлек же я ее от этого типа.

— Где же? — говорит она.

— Раньше его, по крайней мере! — ору я и смотрю на нее, а потом на него смотрю таким взглядом, какого только он и заслуживает.

Она говорит:

— Ну что вы, мальчики?

А он говорит мне:

— Ну что вы к женщине пристали, куда вы лезете. В чем дело, собственно говоря?

Он заметно берет себя в руки, встает в какую-то вызывающую позу и спрашивает:

— Вы что? Действительно с ней знакомы? Не были вы с ней знакомы, понятно! И лучше помолчите!

И такую рожу сделал!

Она обоим нам говорит:

— До свиданья, мальчики!

— Я раньше вас был с ней знаком,— кричит он.

Она смеется:

— Ах, рассмешили вы меня, мальчики! Прямо как в какой-нибудь оперетте.

Я говорю:

— Ну хорошо, я ее не знаю, приятель, но ведь и вы ее не знаете. Чего же вы голову морочите!

Он отвечает:

— Правильно, я ее раньше не знал, но и вы не знали.

Все втроем начинаем смеяться. Весело, правда? Больше всех она смеется.

— Так почему бы нам не познакомиться в таком случае? — говорю.

Она перестает смеяться и совершенно серьезно говорит:

— Пишите, мальчики, мне до востребования на главпочтамт.

С улыбкой она произносит свое имя и фамилию и уходит так быстро, что остается только писать ей до востребования. Неужели она думает, мне трудно написать ей до востребования! Да написать до востребования ничего не стоит. Для такого напора я вполне созрел.

А он тоже будет писать?

Смотрю на него, а он на меня смотрит, точь-в-точь как тот, который стрелял в американского президента.

ДАЛЬШЕ ВГЛУБЬ ПЕШКОМ

— Не вас ли я видел по телевизору? — сказал я, столкнувшись с ним в купе. — Не вы ли...

— Да, это я, — устало улыбнулся он, снял пиджак и повесил на крючок.

— Узнал вас сразу! — Я тоже снял пиджак и повесил его на другой крючок. — Простите, что я так... но ведь только сейчас видел вас по телевизору!

— Закройте, пожалуйста, дверь.

У дверей толпились. Не каждый раз увидишь человека, сошедшего с экрана.

Глазели в окно. Известный актер задернул занавеску и сказал:

— Вы знаете, как бывает, — идешь по улице и вдруг слышишь: «Где-то я эту рожу видел...»

Мы вместе засмеялись. Сели друг против друга, я не мог на него насмотреться, ведь только что видел его по телевизору...

— Неужели мы останемся вдвоем? — сказал он, с надеждой поглядывая на дверь. — Скорей бы отправление.

Поезд тронулся, и мы остались вдвоем.

Он сказал, что едет на съемки, приходится часто сниматься, все время в движении. А сейчас едет в Горький, там снимается картина.

— А вы зачем едете? — спросил он.

Я сказал:

— Еду в Ярославль, потом пешком через Ростов Великий, Переславль Залесский в Москву. Окончил институт имени Репина. Задумал написать картину на

современную тему. Поделаю этюды, порисую. Выдам холст — ахнут.

— Многообещающий художник...— Он вздохнул и полез на верхнюю полку, разделся там, накрылся простыней, а я вышел из купе, потом вернулся.

— Там чай разносят,— сказал я.

— Возьмите и пейте.

— А вы?

— Я поразмышляю,— сказал он.

Как я не догадался: он работает над ролью, а я ему мешаю.

— Пожалуйста, простите,— сказал я.

— Впрочем, на мою долю тоже чайку,— сказал он.

— Один стакан?

— Можно два.— Он тут же пояснил: — Когда сосредоточишься, плохо воспринимаешь, что творится вокруг.

— Я тоже, когда работаю, ничего вокруг не слышу и не вижу.

Разговор теперь пойдет, подумал я, но в дверь постучали. Миловидная проводница, в каждой руке по стакану, почему-то закричала:

— Опять едете, Михаил Михайлович! — Она протянула оба стакана ему, но он попросил поставить их на стол.

— А мне? — спросил я.

— И вам? Дайте с человеком поговорить! — закричала проводница.— Имею я право спросить у человека, чего хочу? Не можете налить себе сами!

— Господи, в чем дело, берите у меня второй стакан, все равно ведь остынет.

— Зачем мне ваш чай? — сказал я.

— Спрашивайте, спрашивайте, Машенька, спрашивайте, моя душенька, все,— успокаивал Михаил Михайлович проводницу.

— Так ведь не дадут, не дадут! — Она пошла за чаем.

— Заметили ее фигурку? — подмигнул Михаил Михайлович. — А вы к ней с чаем пристали.

— При чем здесь фигурка? Должна же она работать.

— Э-э, не скажите, фигурка у нее прелестная.

— Ну и что! — завелся я.

— Ну и ничего, а еще художник! Принесет она вам чай...

— И пусть несет!

— Эх, не умеете вы с женщиной разговаривать...

— Во-первых, она проводница...

В этом вопросе мы не сошлись. Вернулась с чаем Машенька.

— В какой картине вы сейчас снимаетесь, Михаил Михайлович? — На меня она даже не взглянула.

— В трех, Машенька. «Горизонт» — раз. «Параллель» — два. «Зебры полосатые» — три, совместно с ДЭФА.

— Ой, трудно?!

— Это все равно, как если бы вы, Машенька, работали сразу в трех поездах. — Разговор у них катился гладко, пока Машеньку не позвали к другое купе.

Он свесился вниз и отпил глоток из стакана. Поморщился:

— А чай — бурда!

— И охота вам с ней пустое выводить, — сказал я, — чай-то все равно бурда.

— Да что вы, молодой человек, все «чай» да «чай»... Для такой девушки простительна бурда. Не пейте, только и всего.

— Ну разве это обслуживание? — возмутился я.

Он вновь забормотал у себя на полке, занялся ролью. Я отхлебывал бурду.

— Вылетает текст из головы! — слышалось сверху.— Одна роль путается с другой...

— Сначала бы в одной картине снимались, потом в другой — по очереди.

— Меня же приглашают. Случается, бывает, ни одной.

— Тогда что?

— Ничего. Жди приглашения. Вот сегодня вы видели меня в роли белогвардейца. А раньше — тоже. Пока эти типы в кино не перевелись, играю в основном белогвардейцев. И еще подлецов иногда. Режиссеры к этому привыкли, зрители привыкли. В трех новых фильмах играю двух белогвардейцев и одного подлеца. Вот и происходит в голове вполне понятная путаница.

— Неужели так трудно роль запомнить? Пустяк — роль запомнить.

Он обиделся:

— На моем месте вы бы и десятой доли не запомнили. Что с вами толковать...

— Я все запоминаю,— сказал я.— Все, что прочту.

— Да бросьте вы!

— Я вообще все книги, все газеты, которые читаю, запоминаю слово в слово. Почти что все.

Он задвигался наверху, будто собирался слезть, но потом затих, буркнул только:

— Не болтайте чепухи...

Я сказал:

— Давайте ваш текст, я прочту один раз и все повторю без ошибок.

— Мне некогда с вами шутить.— Он сунул свой текст под подушку.

— Но как же мне вам доказать?

— Ну хорошо, только чтобы покончить с этим, возьмите со стола газету и прочтите, где хотите. Ну? Что же вы?

Я прочел вслух:

— «Стоквартирный дом площадью четыре тысячи пятьсот квадратных метров сходит ежедневно с конвейера Московского домостроительного комбината номер один... Миллион рублей осваивают каждые двадцать четыре часа строители и монтажники Волжского автомобильного завода... Это лишь несколько фактов из летописи сегодняшнего строительства...»

— Достаточно,— прервал он,— повторите.

Я дал ему газету. Повторил. Он водил по тексту пальцем, но я не мог ошибиться.

— Действительно, точно все... нет, нет, вы меня не проведете, эта газета лежала все время перед вами, скажите мне слово в слово вот что...— И он назвал статью во вчерашней газете.

— Я ее не читал.

— Гм... Может быть. Хитрец! Прочтите вот здесь...

Я прочел в другом месте, текст в два раза больший, и без единой ошибки повторил.

— Феномен! — Он крутил в руках газету, как будто в ней таилось что-то загадочное.— Непостижимо...

— Да что здесь особенного. У меня с детства способность запоминать прочитанное слово в слово. В школе одни пятерки получал. В институте то же самое. Другие учили, а я не учил и получал — это единственная польза.

— Значит, зрительная память у вас хорошая, потому вы и стали художником.

— Я стал художником, потому что очень живопись люблю.

Михаил Михайлович заерзал наверху — съехала простыня.

— Живопись вам легко дается?

— Нелегко. Я легко только прочитанное запоминаю, а в остальном обычен.

— Мне бы вашу память!

— Да у меня что: одно есть, другого нет. Зато у вас талант. Вначале я даже испугался, будто вы вышли из телевизора.

— Забудьте вы телевизор, он мне вот здесь сидит! — Он хлопнул себя по шее. — Я театральный актер. В театре непосредственное общение с публикой, контакт с залом, играешь в живой обстановке, получаешь отдачу, поддержку зрителей, играешь и живешь. А в кино дубли, дубли...

— Играли бы в театре, в чем же дело?

— Давно мечтаю сыграть в театре Гамлета. Приходится все время зарабатывать, семья...

Я не понимал, что ему мешает сыграть Гамлета, если хочется.

Он сказал:

— А денег все равно не хватает. Машина у меня есть. Все есть. Но когда все есть, денег все больше надо. — Он крепко задумался, наверно, о своем Гамлете.

— Теперь можно отдернуть занавеску? — сказал я.

— Да, да, конечно.

Мелькали за окном огни.

— Смотрите, целый новый город! Вон сколько построили. Вот вам «факт из летописи сегодняшнего строительства».

Вид из окна его не заинтересовал, потому что, как он выразился, «сам в таком доме живет».

— Современный пейзаж по-своему впечатляет, — сказал я.

— А сами старое едете писать? Я как-то с художниками в одной гостинице жил. Взяли они меня на этюды. Идем по современному городу, будто так и надо, на окраину выходим, и тут все кидаются к старому, разваленному домишке, окружают его кольцом, располагаются со своими этюдниками и жадно пишут

развалюху. Единственное живописное место нашли — вы не из тех?

— А знаете, почему это происходит? Чем старше дом, тем живописнее. Художники это нутром чувствуют. Не знаю, что это была за развалюха, — сказал я, — но «где бы ты ни жил, читатель...»

— Пойдите, пойдите, — сказал он, — какой читатель?

— «...в больших или малых городах, — продолжал я невозмутимо, — или в сельских районах Советской России, если ты любишь свою родину, свой народ и гордишься его славной многовековой историей — ты не можешь не любить вошедших в наши дни из глубины веков памятников культуры прошлого...»

— Прекратите, — сказал он, — что это такое? Для чего это мне слушать? Что вы мне цитатами, своими словами бы говорили.

— Вы же сами восхищались. Мне лучше не выразиться, чем в книге написано.

— Не собираетесь же вы оттарабанивать все, что прочли за свою жизнь? Давайте лучше о живописи поговорим. Взгляды у вас какие? Вы не авангардист?

— А вы?

— Слава богу, я в стороне от всего этого.

— Быть в стороне мне скучно.

— Простое любопытство: как вы считаете, Пикассо — художник?

— Ну, это теперь не вопрос. Это раньше не знали, что Пикассо гениален. А почему вас Пикассо интересует, потому что его картину из-за океана в Европу привезли?

— Он всех интересует.

— Всем любопытным сказали по телевидению: его «Герника» — шедевр мирового значения. Разве вам этого мало? Вы хотите знать, как я к абстракции отношусь?

— Пятно как таковое таит в себе нечто? Есть в нем что-то?

— Копаться в «нечто», искать что-то в пятнах — много там не найдешь, — сказал я. — Сикейроса знаете? Так вот, когда он был молод, один американский ташист пригласил его в свою студию и сказал: «Друг Сикейрос, по твоим вещам, которые я видел, могу сказать, что из тебя мог бы выйти великий ташист. Давай попробуем?» — «Что же, давай пробуй», — ответил Сикейрос. Тот повесил холст длиной в три с половиной и высотой в два метра и позвал жену открывать банки с красками: желтой, зеленой, лазурью. Погасили свет, и ташист ласково и даже изящно взялся за краску, не зная, какая она. Вспыхнул свет, и на холсте оказалось несколько пятен любопытной окраски: «Теперь ты, Сикейрос!» Опять погас свет, краски поменяли местами. Там, где была лазурь, поставили охру, где была охра — пурпур. В темноте Сикейрос взялся за губки и тряпки, макал их в краску и бросал в холст. Какое-то время он провел за этим занятием, потом зажгли свет. «Это гениально!» — воскликнул ташист. «Да нет, — ответил Сикейрос, — просто в детстве я был подающим в бейсбольной команде».

— Любопытно, — засмеялся Михаил Михайлович, не заметив, что я шпарил из газеты. — Сикейрос — большой художник?

— А вы не знаете? Сикейрос делал гигантские росписи, многофигурные композиции «Марш человечества», пятна ему было маловато. Я собрал уйму репродукций этого художника, — похвастался я. — Да и не только его.

— А я собираю письма. Если бы вы знали, сколько мне пишут зрители! Вагон корреспонденции, без преувеличения. Рассортировал их по полочкам — составила целая коллекция.

— По какому принципу вы их сортировали?

— Одни письма толковые, другие менее.

— А бестолковых нет?

— Все письма в мой адрес мне дороги. Не считаете же вы, что есть бестолковые, никуда не годные люди? Каждый человек по-своему интересен.

— О чем вам пишут?

— Хвалят, критикуют, советуют, предлагают...

— Поскольку речь зашла о письмах,— сказал я,— в одной заметке...

— Опять заметка? Я больше не могу. Что за заметка? Давайте в двух словах.

— Там всего-то два слова.

— Ну-ну, что же там?

— «...Журнал опубликовал уникальное письмо... Это письмо уведомляет почтальона университетского городка Оксфорд в том, что в его услугах больше не нуждаются. Данное письмо, как и судьба его адресата, наверняка не заинтересовали бы журнал, если бы этим злополучным почтальоном не был Уильям Гаррисон Фолкнер — американский писатель. В письме об отставке, врученном Фолкнеру, в частности, говорится: «Вы дурно обращались с письмами всех видов, включая заказные... Вы выбрасывали даже корреспонденции с оплаченным ответом... в мусорный ящик...» Фолкнер сохранил необъяснимую нелюбовь к письмам до старости. Когда он умер, у него в доме обнаружили нежилую комнату, наполовину заваленную нераспечатанными посланиями от почитателей его таланта. Среди них были и заказные письма, и с оплаченным ответом...»

— Возмутительный тип! — отозвался Михаил Михайлович. — Как можно! А еще писатель, и я еще этого писателя читал!..

— Человек, может быть, он плохой, но писатель хороший.

— И слушать не хочу! Неужели вы оправдываете его?

— Интересно, почему он так поступал?

— Я тоже не пойму, действительно загадка. Что бы это значило?

Раскачивался поезд, сползала простыня Михаила Михайловича, он не замечал. Я встал, поправил ее, застелил свое место.

— Спокойной ночи,— сказал я.

Под утро что-то грохнуло, ударило меня в бок, и я вскочил. Михаил Михайлович лежал на полу.

— Что с вами? — спросил я, спросонья ничего не соображая.— Что здесь произошло?

— Я, кажется, свалился сверху,— сказал он растерянно,— действительно, я свалился...

— Что у вас с глазом?!

— У меня? С глазом? — Михаил Михайлович вскочил и бросился к зеркалу.— Вероятно, ударился об угол столика. Заплывает глаз... чертовщина!

— Как вас угораздило?

Михаил Михайлович сел, стал вспоминать:

— Мне приснилось, будто я прочел все собрания сочинений, все газеты и журналы от корки до корки и все слово в слово запомнил... И вот результат.

— Ну, от того, что прочтешь, обязательно надо падать. Скорей всего, это у вас переутомление от работы,— сказал я.— Впрочем, могло быть хуже. Упали бы виском — и на тот свет. Все-таки благополучно обошлось. Радоваться надо.

Михаил Михайлович немного успокоился и сидел, закрыв глаз ладонью.

— У меня главное — работа. Но как я появлюсь в таком виде? Придется съемки сорвать.— Он опять подошел к зеркалу.— Где-то я эту рожу видел?

— Вам же подлеца играть, может, сойдет. Грим положите.

— Ваши шутки неуместны. Если вы нещепетильны, то я не таков. Появляться в таком виде? Сойду теперь с вами в Ярославле, в Горький пошлю телеграмму, что задерживаюсь, и встречным поездом обратно в Ленинград.

Постучала Машенька.

— Чай, Михаил Михайлович!

Михаил Михайлович пробовал улыбнуться.

— Ай! — Она чуть не выронила стакан, подозрительно на меня взглянула.

— Да вот, угораздило сорваться вниз. Скажите, когда обратный поезд из Ярославля? А чай не надо, уберите его.

— Упали вниз, ай-ай-ай, как я вас не уберегла! — сокрушалась Машенька.

— Посочувствуйте, Машенька, съемки срываю...

— Сейчас я сбегая за аптечкой.

Приближался Ярославль.

Машенька прибежала.

— Аптечка куда-то запропастилась... Не знаю, будет ли вам это интересно, передаю вам свои дневники. Может быть, мои записи поднимут вам настроение, ведь они вам посвящены.— Она покраснела и выбежала.

— Положите, пожалуйста, их в мой портфель,— попросил Михаил Михайлович.

Поезд остановился. Мы вышли.

— Вам бы в Сибирь надо, на БАМ, вместо того чтобы писать местные развалюхи,— сказал Михаил Михайлович.

— Почему непременно в Сибирь? Я приехал в самый центр страны, как говорят, в самое сердце России — Нечерноземье. Тут родина моих предков. А писать я хочу старое на фоне нового. Или новое на фоне старого. Чтобы одно с другим контрастировало и высвечивало одно другое.

— Думаю, на вашу долю тут всего хватит.

— Разберусь, что к чему. А не пошли бы вы со мной? Пока вам все равно нельзя работать.

— С вами? — удивился Михаил Михайлович. — Нет, нет, я обратно. Потом уж самолетом в Горький полечу. А вы, значит, дальше поедете?

— Дальше. Вглубь. Пешком пойду... До свидания. Мы разошлись в разные стороны.

КАРТОШКА

Живу в русле времени. Выделили нам участок за городом, жили мы там все лето, посадили картошку, всей семьей трудились — порядочно картошки посадили. Хорошо. А что, плохо, что ли?

Осенью ее выкопали — несколько мешков. На грузовике отвезли всю картошку в город, из балкона я сделал ящик, всю картошку туда высыпал — до морозов могла там находиться, это ясно. Но разве мы сможем всю картошку съесть до морозов? Огромное количество, куда столько девать?

Две сетки картошки я повез своему старому приятелю — он жил в другом конце города, я взял такси, но его дома не оказалось.

Я взял такси, поехал обратно, но вдруг вспомнил другого приятеля, Василевича.

Василевич принял меня радостно, но все косился на мою картошку — он не мог понять, почему это я с картошкой. Мне сразу тоже было неудобно всовывать ему картошку, раздеться нужно было, шляпу снять... Я сетки на пол поставил, они свалились, и картошка покатилась по всей комнате, и Василевич спросил:

— Откуда у тебя эта картошка?

— Да посадил, понимаешь, у себя на даче... — объяснил я, ползая по полу, собирая картошку.

— И много посадил?

— Порядочно, понимаешь, посадил...

— И выросла?

— Вот видишь, выросла...

Я ее всю с пола собрал, протягиваю сетки супруге Василевича, торжественно говорю:

— Вот от меня, от моего имени, от имени моей супруги, мы счастливы, короче говоря, передать вам эту картошку, выращенную на нашей собственной земле!..

— Да брось ты,— сказал Василевич,— на кой она мне, вон есть у нас картошка.

— Брось ты,— сказал я,— у тебя не такая картошка...

— Картошка у нас сейчас правда есть,— сказала супруга Василевича,— но если она у вас гниет...

— Почему это гниет,— сказал я,— ничего не гниет...

— Привез бы поллитру,— сказал Василевич,— а картошки мы тебе нажарим.

— Зачем поллитру? — говорю.— Весь мир теперь пить бросает, я читал, в Швеции давно не пьют...

— Картофка, картофка, родная винтовка,— сказал он.— Хитрый ты! Да отпусти ты свою картошку! Как не знаю за что держишься! Как за парашют держишься! Да сходи за поллитрой, помешанный ты, что ли, на своей картошке?

— За поллитрой я не пойду,— как можно убедительней сказал я.

— Это почему же? — удивился Василевич.

— А потому что не для этого я к тебе пришел.

— А зачем пришел?

— Я принес тебе картошку...

— Я принес тебе цветы! — насмешливо запел Василевич.

— Ты возьмешь картошку?

— Возьму,— сказал Василевич,— если ты за поллитрой сходишь.

— А если не схожу?

— Тогда не возьму.

— А если схожу — возьмешь?

— Тогда возьму.

Нет, я не взял поллитру — это было бы неправильно. Я взял такси и поехал к своему старому другу, которого дома не оказалось.

Его опять дома не оказалось. Я взял такси и поехал домой. Дома в расстроенных чувствах высыпал картошку обратно на балкон. Посидел с часок дома. Потом опять насыпал картошку в сетку, взял такси и поехал к своему старому другу — должен же он наконец дома появиться!

Его дома не оказалось. Я взял такси и поехал домой.

— Пожарь мне картошки,— в отчаянии сказал я жене.

— Ты ее только что ел,— сказала она.

— Хочу еще,— сказал я.

Совсем неплохо, я считаю, нельзя обижать картошку. Вкусно, съедобно, хорошо, все правильно. Но до морозов нам ее все же не съесть. А морозы надвигаются. Людям приятное сделать хотел, поделиться картошкой, а они не понимают, что ли?..

НЕ ВГОНЯЙТЕ ЖЕНЩИН В КРАСКУ

Начиналось красиво.

В это утро я повесил пальто в гардеробе, чтобы не утруждать гардеробщицу. Поднялся по лестнице, чтобы не утруждать лифтершу. Поздравил всех женщин отдела с Женским днем, а уходящая на пенсию Шарова кокетливо спросила:

— А персонально?

— Деньги собраны,— сказал чертежник Муров,— и подарки будут вручены всем персонально, что еще надо?

— Сейчас же извинитесь! — сказал я Мурову.

— За что?! — удивился Муров.

— Некрасиво!

— Что некрасиво? Да я для них деньги неделю собирал, никто давать не хотел!

— Прекратите, Муров! В такой день женщины не должны знать о таких вещах!

— О каких вещах?! — изумился Муров.

— О деньгах!

— Вот те на! Я же с них собирал!

— Да вы что?!

— Собственную инициативу проявил,— похвастался Муров.

— Ах Муров, Муров, нет у вас такта! Вгонять женщину в краску в такой день...

— Да кто их в краску-то вгонял? Больше я общественной работой заниматься не буду! — Он, как шапкой, резанул рукой воздух.

— И не доверим, Муров, не доверим,— сказал я.

— Испугали!

— Я с вами потом поговорю,— сказал я, садясь за свой стол.

— А чего мне с вами разговаривать! Из-за вас я испортил чертеж!

— Успокойтесь,— вмешались женщины,— не надо. В такой день...

Тогда я сказал:

— Всех женщин, здесь сейчас сидящих, стоящих и идущих...— тут я перевел дух,— наравне с мужчинами, угощаю мороженым и шампанским за свой счет!

— Вы сказали: «наравне с мужчинами»,— кокетливо вставила Шарова,— а мужчин у нас двое...

— Я имел в виду женщин, которые шагают наравне с мужчинами в высоком смысле, то есть женщин, шагающих наравне с мужчинами, так сказать, в общем ряду, в одном строю, а не в данном случае...

— Надо выражаться поточнее,— огрызнулся Муров.

Шарова кокетливо сказала:

— Шагать в одном строю с некоторыми мужчинами просто позорно...

— Кого это вы имеете в виду? — спросил Муров.

— Да так...— кокетливо сказала Шарова,— завели такую кутерьму...

В кафе развеселились.

Я возмущался Муровым.

— Ах этот Муров! — вздыхали женщины, поднимая бокалы.

Запели.

Вышли на снежок.

С трудом проводили Шарову. Она вырывалась и опасно скользила.

Карину провожали вчетвером. Марину втроем. Валентину вдвоем.

Стеллу вел один. Я был ко всем внимателен.

Стелла смеялась и закидывала меня снежками.

— Разбегайтесь! — звонко кричала она.— Оп-ля! Расшевелитесь!

— Фу... ну зачем...— отмахивался я.

— А вы не стойте! Ловите! Эх вы! Нате вам! Р-раз! Оп! Еще!

Она подбежала совсем близко, и от нового снежка я зашатался. Крепко бьет, удивился я. Пусть. Женский день.

— Нате-ка вам еще!

— Довольно...— просил я, выплевывая снег.

— Вот вам еще!

— За что?..

— Ха-ха! Хо-хо-хо! — хохотала она, убегая.
Было поздно. За полночь. Потухли огни. Наступило девятое марта.
Я вдруг заплакал, вспомнил о своей жене.

СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН

Звонок по телефону разбудил меня.

— Что ты сейчас делаешь?

— По телефону разговариваю. Кто это?

— Не можешь угадать? Эх ты...

Зачем мне среди ночи голоса отгадывать? Надоели мне вопросы: «Как дела?» и «Что ты сейчас делаешь?» В данную минуту ведь по телефону разговариваю. Спросонья я плохо соображал.

— Пошел ты... — сказал я.

— Ну вот, интеллигентный человек... зачем же так... эх, старый друг...

В самом деле, подумал я, наверное, это старый знакомый, знает, что я часто по ночам работаю, вот и позвонил.

— Назвал бы себя, и все тут. Дай поспать. Отстань, отстань...

Я положил трубку.

Он не отставал. Звонил.

— Эх ты...

— Ух ты! — сказал я зло.

— Да погоди... — Он очень не хотел, чтобы я трубку бросал, и я не бросил. Далекое, знакомое я ощутил вдруг в его голосе и насторожился.

— Это Слава звонит, — сказал он. — Твой друг детства, земляк, не узнал?

— Славка! О! Слава! Ты? Ведь прошло столько лет...

— Двадцать лет пройдет, тридцать лет пройдет...— запел он знакомую песню.

Его голос. Узнал. В школьном хоре он пел. И теперь я его по голосу узнаю.

— Двадцать лет уж точно проскочило,— сказал я.

— Твой-то голос я сразу узнал,— сказал Слава.— Слушай, у меня в кармане бутылка коньяка, но я не могу приехать к тебе с этой дурацкой бутылкой. Я не успею. Я сейчас в Петрокрепости, утром нам отплыть в Северный Ледовитый океан. Ты не знаешь, когда у вас мосты опускают?

— Сначала поднимают, а потом опускают, по очереди один за другим,— сказал я.

— Тогда ты мне вот что скажи: есть у тебя половичок?

— Какой половичок?

— Ну маленький, какой-нибудь симпатичный половичок. Могу ли я прилечь, калачиком свернуться и подремать до утра у своего старого приятеля, как в детстве, пока у вас мосты поднимают и опускают?

— У меня есть кровать,— сказал я просто.

— Э-э-э, друг, кровать и у меня есть, а вот половичок...

— Ты что, издеваешься? В нокдаун бы послать тебя на половичок,— сказал я.

— Нет, серьезно, могу я прилечь там у тебя?

— Да на здоровье! На всех кроватях и половичках поочередно, пока мосты поднимаются и опускаются.

— Спасибо, друг, я так и знал — для меня у тебя всегда найдется место. Видишь ли, я иду старшим механиком в Северный Ледовитый океан на прекрасном современном научно-исследовательском судне под названием «ЭС-ЭМ-ПЭ».

— Опять ты? Ты что, перебрал?

— Нет... Слегка... Не в этом дело, дружище. Мы действительно идем в Северный Ледовитый океан, но

не знаю точно, когда отчалим и пойдём Северным морским путем. Все путем... А судно действительно новое и название прекрасное: «ЭС-ЭМ-ПЭ».

— Да, это действительно прекрасно,— сказал я.

— Ну вот видишь, а ты думал что? Я что? А приехал бы ты сюда ко мне, дружище! Уйдет мой «ЭС-ЭМ-ПЭ» без меня, если опоздаю, придется мне его на вертолете догонять. А у тебя нет вертолета, дружище... Приезжай!

— Я рад бы, но я не один.

Он сразу понял.

— Забирай подружку и жми сюда. «ЭС-ЭМ-ПЭ»! — орал он в трубку.— Высший класс! Давай сюда! На «ЭС-ЭМ-ПЭ»!

Я вздохнул.

— Все на свете забыл! И парашютную вышку, и бой на первенство Вооруженных Сил!..

Я не забыл. Мы прыгали с ним в детстве, после войны, с парашютной вышки. Он тогда съехал на задку с площадки, чтобы меньше было расстояние до земли, но повис в воздухе: ему недоставало веса. Очень весело было, смешно. А потом в блокаду везли нас по Ладоге. И было не до смеху. А потом служили в армии в разных частях и встретились на ринге на первенстве Вооруженных Сил. Надавали друг другу от души, как старые приятели. После боя обнялись и поцеловались.

Я молчал. Вспоминал.

Он вдруг решился.

— Ладно,— сказал он.— Еду. Откуда мне ехать?

— Где стоишь, оттуда и поезжай,— сказал я.

— А где я стою? — спросил он дурашливо.

— А кто тебя знает, где ты стоишь. Садись, Славик, в такси — и вперед! Слушай адрес внимательно!

— Тьфу... да, да, я и хотел спросить, куда мне ехать.

Подруга дергала меня за руку: мол, прекрати разговор с этим бестолковым человеком.

Я назвал ему адрес, и он сказал:

— Еду.

И я сказал:

— Валяй!

Я стал ждать Славика, а подруга уверяла меня, что он не придет. Нет, раз Славик сказал — немедленно придет, в этом я не сомневался. Я ждал его. Я волновался.

— Зря ты его пригласил, — сказала подруга.

Я отмахнулся. Я был далеко. Был не с ней, а с ним.

— Зачем ты его позвал? — повторяла она.

Она стояла у зеркала и расчесывала свои роскошные волосы, и совершенно другое теснилось в ее голове.

Звонок в дверь. Я вскочил открывать.

Он запел в дверях своим густым и бесподобным голосом.

И сразу пошел у нас разговор.

— А если я тебе врежу справа? — И он от души расхохотался.

— Тогда я нагнусь, — сказал я, — и врежу тебе слева.

— А живот! — хохотал он.

Да, у меня был живот. Вернее, стал. Раньше не было.

— Ну и разговорчики! — усмехнулась моя подруга.

— Всю жизнь у нас с ним такие разговорчики, — сказал Славик. — С ним только так и можно разговаривать, иначе не понимает.

— Во-во, — сказала подруга, — очень даже верно говорите.

Мы с ним крепко обнялись, как тогда на первом же Вооруженных Сил.

— Сейчас я тебе картины покажу, — сказал я.

— На кухню, давай на кухню,— сказал Славик,— не нужно мне ничего показывать, ничего мне не надо, кроме песни.

— А я хочу тебе картины показать,— сказал я.

— В художники, значит, записался,— сказал он.

— Записался,— сказал я.

— Споем лучше на кухне,— твердил он.— Самое лучшее место петь — на кухне!

Любил он петь. Я петь не любил. Все поют — я молчу.

Мы, конечно, пошли в кухню, раз он хотел там спеть.

— Ну как твои дела? — спросил Славик, поудобнее усаживаясь.— Что ты сейчас вообще делаешь?

Я взглянул на него. Вид он сделал серьезный и многозначительный, будто готов был разобраться в любой судьбе. Будто перешел к серьезному делу и шутить не намерен.

— Хорошо,— сказал я.— А у тебя?

— А мы ходим в разные страны,— сказал он, откупоривая бутылку.

— Немножко надоело? — спросил я осторожно.

— Да нет. Я ведь моряк.

Все выпили. Славик запел. Никто ему не подпевал, и он остановился.

— Неужели тебе плавать не надоело? — стал допытываться я.

Он даже не понимал моего вопроса. Плавать он привык. И за жену свою нисколько не волновался. Пусть она за него волнуется. И дети у него растут, пока он там болтается на волнах.

А я на земле сижу без жены и без детей со своим художественным образованием. И совершенно запутался в своих же собственных картинах. Я стал ему рассказывать:

— Сначала я перестал понимать свою собственную жену, очень целеустремленную актрису. Ну ладно, играй себе на сцене и перевоплощайся на здоровье, но ведь она чуть свет встает и во все горло орет: «Эц! Ац! Оц! Уц!», непрерывно, подряд, без конца. С ума можно сойти!

Славик меня перебил:

— Зачем это она так?

— Упражнения голосовых связок,— пояснил я.— Как будто без них нельзя...

— Без связок нельзя,— согласился Славик.

— Без упражнений нельзя,— поправил я.

— Ну, рассказывай, рассказывай,— сказал он. На самом-то деле, я же видел, слушать ему не хотелось, ему петь хотелось.

— Я все сознаю,— продолжал я,— и понять все можно, что ради искусства это делается, но практически такую тренировку невозможно переносить. Дальше еще хуже. Отвечает вечно невпопад. Спросишь: «Чай готов?» А в ответ: «Человек всегда должен делать над собой некоторое усилие». Или: «Не хочешь ли сходить в кино?» А то ни с того ни с сего вдруг выдает: «Если бы вы меня слушали, этого никогда бы не произошло». Я хватаюсь за голову и силюсь вникнуть и понять что-нибудь. А она, оказывается, репетирует роль и ровным счетом вокруг ничего не замечает. Привыкнуть? Я не мог. Мы разошлись...

— Да брось ты,— махнул Славик,— споем!

— ...А главное, запутался я в своих живописных произведениях,— продолжал я.

— Давай лучше споем,— сказал Славик.

— ...Перестал понимать,— не давал я ему петь,— чем одна моя работа лучше другой моей работы. Кроме того, мне казалось, что все мои полотна похожи на полотна моих товарищей...

— Чем плохо, я не понимаю, если все работы одинаково хорошие? — сказал Славик. — Давайте лучше споем...

— Одинаковые, а не хорошие! — заорал я. — Совершенно одинаковая живопись у целого коллектива!

— Хорошо, когда вместе, — отвечал он. И уставился на меня: петь ему не давали.

— ...Мучительный вопрос, — твердил я о своем, — тормозил естественное творческое движение вперед...

— А раньше ты куда смотрел? — Наконец-то он вник. — Раньше-то ты доволен был? Или как?

— В этом весь кошмар, что раньше не замечал, — говорю.

— Плохо дело, — покачал он головой. — Ну, тогда споем.

— Давайте петь, давайте лучше петь, — поддержала его подруга.

— «Ты узнаешь, что напрасно называют Север крайним, ты увидишь — он бескрайний; я тебе его дарю», — пел Славик, и подруга подключилась к нему с удовольствием, а я сидел, обхватив голову руками.

Ловко у них получалось и ладно.

Пошли песни другие. И стало приятно их слушать. И грустно.

А потом пел один Славик, подруга слов не знала:

— «Он молчал невпопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое, он мне спать не давал...» — Он вдруг остановился и сказал: — Помнишь, как ты мне спать не давал?

— Когда? — Я не помнил.

— Нас везли по льду, а ты стонал, звал брата, — сказал он с редкой для него сентиментальностью.

— Ты это помнишь?! Мы были совсем малыши...

Но он уже дальше пел:

— «Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя...»

Пыталась подпевать на последних строчках захмелевшая подруга.

Застучали в потолок соседи. Светлело за окном. Петь прекратили. Я спросил:

— Расшифровывается как-нибудь это твое «ЭС-ЭМ-ПЭ?»

— Да ну тебя, Саша,— махнул он рукой.— Какое это сейчас может иметь значение...

— Ну а все-таки, должно же это как-то расшифровываться?

— Отстань ты,— сказал Слава. Он потер себе лоб и мучительно поморщился.— погоди, расшифруем... А ты можешь со мной рвануть, дружище?

— Куда?

— На «ЭС-ЭМ-ПЭ».

— В Северный Ледовитый океан, что ли?

— О! Догадался! Поселимся вместе в каюте. Работу тебе подыщу. Живи, морем дыши. Найду тебе там дело, и будешь зарабатывать получше, чем своими картинками.

— Сразу? Сейчас? Мне нужно в своих картинах разобратся. Вдруг сразу ехать, ты что?

— Мне пора. Разбирайся тут со своими картинками.

Холсты стояли и висели повсюду. Но виделась мне картина живая: как лежим мы с братом чуть живые от голода, накрытые матрасом. За окном блокадная метель, а на стене географическая карта. Лежим, почти не двигаемся и разговариваем шепотом, чтобы не тратить лишнего сил. «Прочти-ка, что там написано большими буквами?» — прошептал старший брат. «Ну я ведь в школу еще не хожу, как же я могу?» — отвечал я ему. «Эх ты, неужели ты прочесть не можешь: СЕВЕРНЫЙ ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН... Как это не понять...» И это были его последние слова.

— А как же я? — растерянно сказала подруга.

На нее внимания не обратили. Славик торопился, а

я задумался, блокадное видение заслонило все, и я ей совсем не ответил. Так назойливо звал меня в свои просторы Северный Ледовитый океан, что ничего другого в жизни не оставалось, кроме как махнуть туда.

Я стал одеваться внезапно, быстро, как по тревоге в армии. Будто представился случай, о котором всю жизнь мечтал. Напялил на себя первое попавшееся. И Славик хлопнул меня по плечу:

— Найдем там тебе робу, дружище, сейчас, главное, скорей.

— А я? — продолжала волноваться подруга.

— Да вы не волнуйтесь, — сказал ей Славик, — вы его поймите.

— Не хочу понимать! И с какой стати вы тут вообще распоряжаетесь? Нечего ему там делать, и никому да ему не надо. И понимать тут нечего.

— Он в любой момент волен вернуться, и никакие обязательства его не связывают, — сказал Славик.

— Ну вот и поезжайте, поезжайте! — Она прямо-таки подталкивала Славика к дверям. Я не узнавал это кроткое создание.

Пришлось выйти втроем.

— Черта с два поймаете тут такси чуть свет! Ни души, ни машины, — досадовал Славик.

Тут, будто на счастье, выскочил из-за поворота автобус, правда, с черной полосой вдоль борта. Славик замахал и кинулся наперерез. Шофер затормозил, вылез из кабины с какой-то накладной и спросил:

— Это вы?

— Мне в Петрокрепость, — сказал Славик.

— А я думал, вы родственники покойного, встречаете машину, я не знаю, куда ехать, это какая улица?

Я сказал.

— А где вот такая? — Он показал накладную.

Я сказал.

— Подбрось сначала до Петрокрепости,— сказал Славик.

— Заскакивайте в салон. А покойничек подождет. И мы заскочили.

— Дай бог здоровья твоему покойничку,— сказал Славик.

Подруга моя тут заявила:

— На этой машине я ни за что не поеду!

— Все сели? — заторопил шофер.

— Все! — крикнул Славик. И катафалк помчался.

Так и не успел я попрощаться со своей подругой...

— Ведь мы с тобой друзья детства,— успокаивал меня Славик.— Детская дружба никогда не забывается. Вот с кем бы ты хотел поговорить по телефону на том свете? Со мной? Верно ведь? Правильно. Со мной. А я с тобой. А теперь пойдем вместе Северным морским путем. «Мне не стало хватать его только сейчас...»

— Поплывем, значит,— сказал я,— в самый настоящий Северный Ледовитый океан...

— Вон стоит мой «ЭС-ЭМ-ПЭ»! — обрадовался Славик.— Успели! Лишь бы вовремя успеть, а на какой машине — не важно.

КУДА ПОШЕЛ! И ГДЕ ОКНО!

Памяти В. Торопыгина

Мы с ним сидели в баре в иностранном аэропорту. Наш рейс откладывали. То и дело мы слышали информацию на трех языках о задержании рейсов. Бармен сказал, что разбился самолет при посадке, выясняли причину, рейсы один за другим отменяли.

Самолеты не летали, народу в баре все прибавлялось. Возможность потерпеть катастрофу никого, похоже, не пугала.

Мы с ним пробовали разные напитки — от пепси до виски, потом составляли разные сочетания — пиво в сочетании с виски... Вспоминали Москву, Ленинград, Купчино, улицу Фурманова...

В баре, забитом людьми, появился мальчик-официант в расшитом костюмчике с подносом в руках. Он освободил поднос у столика, взял его, как щит, и показал, что нарисован на нем Моби Дик, белый кит. Потом он появился с другим подносом, на нем был нарисован чемпион мира по боксу Кассиус Клей.

— Кассиус Клей! — говорит мальчик и бьет апперкотом пустой поднос.

Звенит поднос, кричит на мальчишку бармен, но он бьет еще, еще — надоело ему работать, хочется мальчишке поиграть.

Бармен выхватил у него поднос. Стоит смущенный мальчишка, в своем костюмчике похожий на маленького принца Экзюпера.

Потом был еще поднос, на нем тоже что-то было нарисовано, но может быть, нам это только казалось, мы уже плохо различали подносы, но все время видели мальчика.

— Что за родители, заставляют ребенка работать, — говорю я. — Послушай, мальчик, пойдика ты сюда... иди, иди, не стесняйся, на тебе ручку в подарок, держи. Что бы ему еще дать? — говорю.

Мальчик послушал мой разговор, взял ручку и сказал:

— Я! Учительница сказала: «Куда пошел? И где окно?»

— Что, что? — удивился я.

— Куда пошел? И где окно? — радостно повторил мальчик.

Ах, он учится в школе русскому языку и показывает нам свои успехи!

— Кто заставляет его работать? Родители?

Все быстро менялось. В окно уже виден закат над летным полем. Мальчик устал, ему хотелось спать. Но он все менял свои подносы и показывал, как они разрисованы. Иногда он звенел подносом. Проходя мимо нас, всегда говорил:

— Куда пошел? И где окно? — И смеялся.

— Я этих слов никогда не забуду,— говорю.— Такие смешные слова! Подходят во всех случаях.

Теперь самолеты один за другим взлетали. Мы плохо слушали объявления. Мой друг показал на взлетающий самолет и сказал:

— По-моему, это наш самолет взлетел.

— Не может быть,— говорю я, смеясь.— Куда пошел? И где окно?

Да, так и есть, самолет улетел, а мы остались.

— Привет! — сказал друг.— Наш багаж в самолете, а мы с тобой здесь, черт бы побрал!

— Куда пошел? И где окно? — повторял я слова мальчика, и мне казалось, в этих словах много смысла, сплошной глубокий смысл, такой глубокий, что дальше уж некуда. Все быстро меняется, а слова остаются неизменно.

Все действительно быстро менялось.

Мы с другом улетели тогда другим рейсом.

С тех пор тоже все изменилось.

Друга нет.

Сиюю я один и думаю: «Куда пошел? И где окно?..»

СЛУЖЕБНЫЙ ТЕЛЕФОН ТОТ ЖЕ

После окончания института мы были с ним младшие научные сотрудники. Сидели в одном отделе. Мы с ним считали себя учеными-физиками, нас там считали мальчиками. Предполагался, правда, научный рост:

аспирантура, диссертация, должность старшего научного сотрудника и так далее соответственно. Но в аспирантуру желающих и кроме нас хватало. Число диссертантов ограничивали, а желающих увеличивалось. Диссертация мне попросту не нравилась. Готовить ее полагалось три года, писать не менее ста страниц стилем, похожим на подстрочный перевод с иностранного, иначе его не признавали научным. Был я у них на защите. На банкет меня приглашали. Родственники тащили туда салаты и бутерброды. Потом диссертацию долго аттестовывали, потом еще чего-то ждали. И так всю жизнь надо было ждать и надеяться.

А хотелось, не теряя времени, найти себе такое дело, чтобы я в нем был царь и бог. И чтобы всегда мог сказать: вот тут я сделал все, что мог.

Я стал писать повести и рассказы и вскорости ушел из института.

Вот иду сегодня по улице и вдруг:

— Ух ты, какой стал! — сказал Миша и подергал меня за куртку.

Сам он был одет в костюм, который считался очень модным десять лет тому назад.

— Помнишь, как вместе с тобой сидели? — говорю.

— Я и сейчас там сижу, — говорит.

— Защитил диссертацию?

— Пока нет, но в ближайшем будущем одна тема мне светит.

— Окончил аспирантуру?

— Мы в первую очередь матерей-одиночек пропускаем. Но скоро моя очередь подойдет.

— Женат?

— Конечно. Только моя жена мечтает быть матерью-одиночкой.

— Ты шутишь? — говорю.

— Нет, я серьезно, — говорит Миша.

Он наверняка считает себя преданным науке. В нем

видно упорство и самоуважение. Меня же он, видимо, считает в науке неспособным, несостоявшимся. Немного хорохорясь, говорит:

— Я слышал, ты стал писателем?

— Ага,— сказал я.

— Как это тебе удалось?

— Напиши повесть или роман — и тебе удастся,— сказал я.

— Так сразу и удастся, что ли?

— Пишешь...

— А дальше?

— Несешь к редакторам.

— И как они? Ничего?

— Первый редактор меня попросту игнорировал. Второй отклонил. А третий сказал: «Молодых почти не печатаем: трудности с бумагой».

— Ну а ты?

— «Ну и что,— говорю.— Я и без вас это знаю».

— Так и сказал? А дальше что было? — У Миши загорелись глаза. Ему было интересно слушать. И я дальше сказал:

— Следующий редактор встретил меня с неожиданным пафосом: «Голубчик вы наш, жили мы до сих пор без вас, и, как видите, неплохо жили, чего же вы хотите?» — «Хочу, чтоб напечатали»,— говорю. «А-а-а, все этого хотят. Но ваши произведения не имеют педагогической подкладки, которая совершенно необходима нашему читателю, о котором, как вы сами понимаете, мы должны заботиться». Упрек основателен. Крыть нечем. Стал перестраиваться. Но это трудно давалось. Каждый раз не был уверен, что необходимая «подкладка» появилась. Мучился.

— И что же?! — настаивал Миша.

— Прежде чем нести написанное редактору, я спрашивал домашних, соседей, знакомых, друзей, есть ли

тут педагогическая сторона и может ли это воспитывать.

— И помогало? Неужели помогало?

— Ответы были расплывчатые. Что-то вроде: «А да, действительно...» Понимай как знаешь. Еще раз вдумчиво читаю и с ужасом обнаруживаю, что произведение никого не воспитывает и педагогического значения не имеет.

— Ну и загоревал?

— Я написал новый рассказ о воробьях, описал целое воробьиное семейство, и вроде получилось интересно. Решил показать его еще одному соседу. Про него говорили, что он смысленный старик. Давно нигде не работал, у него было время подумать. А подумав, как известно, можно во всем разобраться. Старик прочел и сказал: «М-да... Не пойдет. Морали в нем нет. И придумать тут ее трудно. Но это можно заглядеть». — «Каким образом?» — «Нужно вот что сделать. Нужно маленькое добавление. Так сказать, в конце. Лучше в стихках. Примерно так: „А где мораль? Морали нет. Привет воробушкам, привет!“» — «Ведь это же белиберда. Разве такое поможет? Это чушь какая-то!» Старик похлопал по плечу и сказал: «Поможет, вот увидите». Я долго думал, но подходящего к случаю стиха придумать не мог. Тогда взял и приплел в конце своего рассказа не какой-нибудь другой, а именно этот дурацкий стишок. И пошел узнать, что скажет на это редактор.

Миша слушал, открыв рот. Видно, нравилось ему, что я рассказываю. А мне нравилось, что ему это нравится. Встреча радостная получается. Я продолжал:

— «Очень оригинально, — сказал редактор. — У нас это пойдет непременно». — «А как тут с моралью?» — спрашиваю на всякий случай. «Здесь, правда, чувствуется отгораживание от морали. Даже пренебрежение

ею. Но в то же время и подчеркивается, что мораль необходима». Вот с этого все началось. Так и идет.

— Чудеса! — восхищается Миша. — Здорово тебе повезло! А мне повезет, как думаешь?

— Конечно, повезет, — говорю.

Миша улыбается. Потом серьезно задумывается. И я ему говорю:

— Знаю я тебя. Все равно не сменишь работу. У тебя там в аспирантуру очередь подходит.

— Однако плохо ты меня знаешь! — говорит Миша и хватается за галстук, его душит волнение.

Что я наделал! Сорвется человек с места и окажется между небом и землей.

— Тебе, пожалуй, не стоит, — говорю.

— Чего не стоит?! Тебе стоит, а мне не стоит? Не хорошо с твоей стороны!

Смотрю на него глазами бывшего сослуживца, приятеля, писателя, наконец, и вижу: черта с два такого с места сдвинешь. Пройдет минутная вспышка — и опять на свое место сядет. Такой характер от места не оторвешь: он всегда будет за место держаться и своей очереди ждать.

— В гости к нам с супругой заскакивай. Вот адрес. Ждем. — И Миша побежал, окрыленный. На ходу уже крикнул: — Служебный телефон тот же...

Вот именно: служебный телефон тот же!



СОДЕРЖАНИЕ

Я ЖДУ ВАС ВСЕГДА С ИНТЕРЕСОМ

Я жду вас всегда с интересом!	7
Три похвалы	12
Густой голос Выштымова	13
Не хотите ли выстрелить из лука?	19
Художник	30
Большие скорости	33
Лейтенант	37
Рассказ об одной картине Сезанна, мальчике и зеленщице	38
Арфа и бокс	39
Серебряные туфли	42
Бочка с творогом, кошка в мешке и голуби	47
Уверенность	53
Красные качели	57
Веселые ребята	61
Когда споткнется дед-мороз (Новогодняя сказка)	68

ЛЮБОВЬ И ЗЕРКАЛО

Любовь и зеркало	73
Все равно	73
Книга отзывов	75
Как его фамилия	76
Потяни корову за хвост	79
Привет вам, птицы!	81
Я палетел на столб	82
Он говорит — я говорю	83

Ты все понимаешь	85
Мальчика поймали	86
Парфентьев	88
Нужно было читать...	92
Туда и обратно	96
Энергия и темперамент	97
Не давайте ребенку кушать известку	98
Музыкальная история	99
Черт меня дернул туда полезть	101
Среди потока самотека	102
Два моста без третьего	105
Он сам нам сказал об этом	105
А как ты думал?	107
Новая шапка	111
С утра до вечера	115
Любовь моя	119
Аврелика (Доктор филологических наук)	121
Это было вчера	127
Визит	128
Никакого кресла там не было (Рассказ маленького маль- чика).	130
Спокойной ночи	132
Мандарины	134
Ну-ка встань, мальчик!	136
В гостях у соседа	141
Мы беспокоимся за папу в 2000 году	158

«СКАЧКИ В ГОРАХ»

«Скачки в горах»	161
Все будет неплохо	162
Гвоздь в столе	163
Любой человек в любом деле устанет	165
Лирическое письмо	166
Фу-ты... фу-ты...	167
А это видишь?	167
Будет суп	169

Петлянье	171
Каково	172
Фрулофф	172
Удивительные дети	175
Пристани	176
О чемодане	177
Я зашел бы к вам	178
Я тебе — ты мне	178
Стук	179
Симпатичный человек	180
Человек идет по рельсам	180
И так хорошо, и так хорошо	180
Окно против окна	181
Прохожий	181
Почему я иду ать-два?	181
Кваканье (Мой сосед)	182
Ничего тут странного не было	182
Пятно на стене	183
Молодцы	183
Веселое настроение	184

КАЛЕЙДОСКОП

Калейдоскоп	187
Сбился с ритма	193
Непробиваемый	199
Дальше вглубь пешком	204
Картошка	215
Не вгоняйте женщин в краску	217
Северный Ледовитый океан	220
Куда пошел? И где окно?	229
Служебный телефон тот же	231

Виктор Владимирович ГОЛЯВКИН
КАЛЕЙДОСКОП

Рассказы



Зав. редакцией А. И. Белинский
Редактор С. В. Молева
Художник М. С. Беломлиньский
Художественный редактор А. А. Власов
Технический редактор Л. П. Никитина
Корректор М. В. Иванова
ИБ № 3642

Сдано в набор 9.10.84. Подписано к печати 22.02.85. М-27242. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,50. Усл. кр.-отт. 10,85. Уч.-изд. л. 10,23. Тираж 100 000 экз. Заказ № 670. Цена 65 коп.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Голявкин В. В.
Г60 **Калейдоскоп: Рассказы.— Л.: Лениздат,**
1985.—238 с., ил.

В сборник вошли рассказы известного ленинградского писателя В. Голявкина, затрагивающие важные вопросы современной жизни, быта, морали и нравственности. Пользуясь приемами юмористического письма, автор оружием смеха борется против мещанства, потребительства, хамства, дурного вкуса и других явлений, обедняющих и засоряющих нашу жизнь.

Г $\frac{4702010200-066}{M171(03)-85}$ 192—85

85.3P7



ЛЕНИЗДАТ